

Пьер Паоло Пазолини Шпана



«Шпана»: Глагол; Москва; 2006
ISBN 5-87532-066-4

Аннотация

“Шпана” — первый и наиболее известный роман выдающегося итальянского кинорежиссера Пьера Паоло Пазолини. Сразу после издания книга разошлась небывалым для Италии тиражом в сто тысяч экземпляров и подверглась резкой критике за “бездуховность”. Против автора было даже возбуждено судебное дело. Перед нами Рим времен немецкой оккупации — не тот ренессансный “вечный город”, каким мы привыкли его видеть, а город нищеты, задворков и вечно голодных подростков, не вписывающихся в благопристойную картину жизни и знающих лишь один закон — закон выживания.

Пьер Паоло Пазолини

Шпана

1. Железобетон

Стоит, как прежде, памятник Мадзини...
Народная песня

Жаркий июльский день. Кудрявому нынче идти на первое причастие и конфирмацию. Ради такого случая он поднялся в пять часов, и, когда шел по виа Донна Олимпия в длинных серых штанах и белой рубаше, вид у него был не как у рядового армии Иисуса, а как у того баркаса, который тащат на буксире вдоль набережной Тибра. В компании таких же нарядных пацанов явился он в церковь Божественного Провидения, где ровно в девять дон Пиццучо причастил его, а епископ ровно в одиннадцать конфирмовал. Кудрявому, однако, недосуг было задерживаться: с вокзала в Затиберье и до самого Монтеверде доносился непрерывный гул машин. Рев клаксонов и моторов на подъемах и поворотах уже огласил пригретые

утренним солнцем окраины. Едва епископ окончил краткую проповедь, дон Пиццучо и трое юных служек повели ребят во внутренний дворик фотографироваться. Епископ выступал в центре, благословляя на ходу коленопреклоненных родителей. Кудрявого так и подмывало улизнуть, и в конце концов он не вытерпел. Проходя через опустевшую церковь, заметил соседа.

— Эй, ты куда? — спросил тот.

— Домой. Жрать хочу.

— Ну так ступай к нам, шлюхин выкормыш, там тебя угостят!

Не удостоив его ответом. Кудрявый выбежал на раскаленную паперть. Рим грохотал, только на холмах стояла напряженная тишина, словно в ожидании взрыва. Кудрявый со всех ног бросился переодеваться. От Монтеверде-Веккьо до виа Гранатьеры путь недалог: пересечь Прато, потом стройку на бульваре Куаттро-Венти — не стройку, а помойку. Дома еще не достроены, а уже обваливаются, — в башмаках полно мусора. В двух шагах отсюда виа Абате-Угоне. Толпы с тихих заасфальтированных улочек Монтеверде — Веккьо стекались к Граттачели. Уже видны длиннющие колонны грузовиков, пикапов, мотоциклов, броневедомобилей. Кудрявый смешался с толпой, и его понесло к складам.

Железобетон — это что-то вроде огромного двора или рыночной площади, обнесенной частоколом с несколькими калитками. По одному краю громоздятся деревянные ящики, вдоль другого тянутся склады. Вместе с шумной толпой Кудрявый преодолел Железобетон из конца в конец и остановился у входа в склад. Но его охраняли четверо немцев. Заметив неподалеку скамейку, Кудрявый, не будь дурак, взвалил ее на закорки и бегом к воротам. А там встретил знакомого парня.

— Ты куда это?

— Куда, куда! — огрызнулся Кудрявый. — Домой ташу.

— Вот дубина! Айда со мной, я кое-что надыбал.

— Ну айда.

Кудрявый бросил скамью, и ее тут же подобрал какой-то прохожий.

Они снова пробрались на Железобетон, к складам. Подхватили по банкетке, затем парень предложил:

— Пошли еще гвоздями разживемся.

С банкетками, гвоздями и прочим барахлом Кудрявый сделал четыре ходки на виа Донна Олимпия. Под полуденным солнцем уже плавилась камни, а народу на Железобетоне не убывало. Люди тасили все без разборки, состязаясь в быстроте с грузовиками, что тянулись в Затибере, на Порта-Портезе, Маттатойо, Сан — Паоло, накаляя и без того знойный воздух. Возвращаясь после пятого рейса, Кудрявый с приятелями заметили у ограды лошадь с телегой. Подошли поближе — может, увести? Кудрявый обнаружил в одном из складов запасы оружия и повесил на шею автомат, а за пояс заткнул два пистолета. Вооруженный до зубов, он взгромоздился на холку лошади.

Но немец тотчас шуганул его.

Пока Кудрявый обчищал склады, Марчелло ошивался в Буон-Пасторе, барахтался с прочей ребятней в пруду, играл в мяч на замусоренном пустыре.

— А Кудрявый-то где? — спросил Херувим.

— Да все рыщет чем бы поживиться.

— Вот сучонок!

— Или обедать закатился к соседям, — предположил Марчелло.

До Буон-Пасторе последние новости еще не дошли. Солнечные лучи, как ни в чем не бывало, охаживали церковь Богоматери во Благости, и Казалегго, и Примавалле. Возвращаясь после купанья, пацаны проходили через Прато, где расположился немецкий лагерь.

Остановились было поглазеть, но мимо промчался мотоцикл с коляской, и немец на ходу крикнул им:

— Rausch, запретная зона! — (Неподалеку от Прато был военный госпиталь.)

— А нам насрать, — откликнулся Марчелло.

Мотоцикл замедлил ход, немец выпрыгнул из коляски и так смазал Марчелло по уху, что тот повалился на бок и скула распухла прямо на глазах. Быстрее ящерики он перевернулся, задницей послал немцу привет и полез вслед за остальными вверх по откосу. Смеясь и улюлюкая, они добежали до больших казарм, где встретили ватагу грязных, как чушки, ребяташек.

— Куда это вы? — спросили те.

— Вам-то что? огрызнулся Херувим.

— Да ничего. Бегите к Железобетону, там такое делается!

Компания не заставила себя уговаривать и поспела как раз к налету на механическую мастерскую.

— А слабо нам разобрать мотор? — предложил Херувим.

Марчелло на секунду выскочил из мастерской и наверняка угодил бы сослепу в яму с дегтем, точно индеец в зыбучие пески, если бы не предостерегающий вопль Кудрявого:

— Марче, стой, дубина!

Счастливо избежав опасности, Марчелло присоединился к этой ватаге и пошел запасаться машинным маслом, приводными ремнями и разными железяками. Он припер домой полцентнера и свалил все на заднем дворе, чтоб домашние не сразу обнаружили.

Мать с порога на него насыпалась, ведь он чуть свет из дому ушел.

— Ты где *шлялся*, гаденыш?!

— Я-то?.. Купаться ходил.

Худой и юркий, как сверчок, Марчелло выставил вперед плечо, хороня от материнских тумачков. Но тут вошел старший брат, уже разнюхавший про сокровища во дворе.

Пришлось и его взять на Железобетон. Они забрались в какую-то фуру и наворовали оттуда автомобильных покрышек. Дело шло к вечеру, солнце палило нещадно, народу на Железобетоне скопилось больше, чем на ярмарке, — не протолкнуться. То и дело раздавался крик:

— Атас! Немцы! — Таким образом ловкачи расчищали себе путь к наживе.

Аппетит приходит во время еды: на следующий день Кудрявый и Марчелло совершили набег на Качару — местный рынок, который теперь прикрыли. В толпе с гордым видом расхаживали немцы и время от времени стреляли в воздух для остратки. Но особенно всех доставали *анаи* — африканские полицейские. Толпа же все росла и с проклятьями напирала на ворота. Но после короткой потасовки даже самым настырным итальянцам пришлось отступить. На прилегающих к рынку улицах под солнцем копошился людской муравейник. Едва распахнулись ворота, пустое пространство вмиг заполнилось.

Посреди рыночной площади одиноко валялась капустная кочерыжка. Но народ не мог уйти с пустыми руками и начал рыскать по складам, под навесами, в закутках. Ребяшня добралась наконец до подвала, где за решетчатой дверью просматривались какие-то свертки и груды, прикрытые брезентом. По углам громоздились пирамиды болванок, напоминавших сырные головки. Весть мгновенно облетела рыночную площадь; за первооткрывателями устремилось человек пятьсот — шестьсот. Вышибли дверь, ворвались внутрь, началась давка. Кудрявый и Марчелло оказались в самой гуще. Их будто шквалом ветра внесло в дверной проем. Вниз вела винтовая лестница; толпа напирала сзади, слышался истошный женский визг. Хлипкие железные перила треснули, какая-то женщина сорвалась вниз и расшибла голову о ступени. А жаждущие снаружи не ослабляли натиска.

— Готова! — сообщили из подвала.

— Уби-и-илась! — завопили испуганные женщины и ринулись было назад, но куда там — ни войти, ни выйти.

Марчелло продолжал спускаться. Добравшись до самого низа, перепрыгнул через труп и стал запихивать в кошелку брезент, рогожи — все, что не успели утащить до него. Кудрявый куда — то исчез — не иначе, в штаны наложил со страху. Толпа мало-помалу

рассеялась. Марчелло вновь перескочил через тело мертвой женщины и бегом домой.

Но у Понте-Бьянко нарвался на милицейский патруль. Его остановили, отобрали награбленное. А он все не уходил — лишь съежился и отошел в сторону с пустой кошелкой. Немного погодя к нему присоединился Кудрявый.

— Ну?

— Что — ну? Видал, всё себе захапали!

— На кой хрен им эти рогожи? — удивился Кудрявый. — Задницу, что ль, подтирать?

За Понте-Бьянко раскинулась огромная строительная площадка, от которой начинались бульвар Куаттро-Венти и Монтеверде. Там, на засыпанном известкой пустыре, под жгучими лучами друзья уселись и стали наблюдать, как чернокожие апаи обчищают народ. Вскоре подросла шайка ребят с набитыми мешками. Африканцы хотели и у них отобрать добычу, но ребята сомкнулись плечом к плечу и двинулись на представителей власти с такими свирепыми рожами, что те решили не связываться и даже вернули всем ранее конфискованное. Подсчитывая в уме, сколько они выручат за такое добро, Кудрявый и Марчелло вприпрыжку побежали по виа Донна Олимпия. Толпа разбрелась, и у Понте-Бьянко остались только апаи да подогретая солнцем вонища.

На утрамбованной площадке, под трехметровой насыпью Монте-ди-Сплендоре, что скрывает из виду и Монтеверде, и линию побережья у самого горизонта, в субботу, как водится, собралась вся местная шпана. Те, что постарше, стали в кружок и перебрасывались мячом. Поддетый мыском в хорошо закрученной подаче, он низко летал над землей. Все уже взмокли, но никому не хотелось снимать свой праздничный пиджак или голубой вязаный свитер в черную либо желтую полоску, чтобы не ударить лицом в грязь перед толпившейся вокруг сопливой мелюзгой. Опасаясь, что их сочтут чокнутыми (взбредет же в голову играть в мяч под таким солнцем!), парни то и дело бросали на малышню взгляды, отбивавшие всякую охоту зубоскалить.

— Эй, Альваро, чего раскис? Бабы доняли? — спросил смуглолицый с набриолиненными волосами.

— Да пошел ты! — откликнулся другой, с приплюснутой мордой и такой гривой на голове, что любая вошь сдохла бы от старости, так и не добравшись до затылка.

Он хотел отдать шикарный пас, но переусердствовал: мяч откатился слишком далеко — туда, где развалились на замусоренной траве Кудрявый и его дружки.

Херувим неторопливо поднялся и отфутболил мяч играющим.

— У него одна блажь на уме, — заметил Рокко, кивая в сторону Альваро, — А не грех бы и делом заняться. Другие, знаешь, нынче вечером сколько нахапают?

— Сбор у водопровода, — доложил приятелям Херувим.

И тут взревели гудки с Железобетона и других фабрик — у Тестаччо, у Сан-Паоло, в порту. Три часа. Кудрявый и Марчелло встали и, ни не говоря никому ни слова, бочком-бочком, двинулись по виа Одзанам к Понте-Бьянко, где можно прицепиться к проходящему трамваю. Они начали утреннюю вылазку с Железобетона, потом перекочевали на рынок, а теперь вот шли “по окурки”. У Кудрявого одно время даже была работа: механик с Монтеверде взял его в свой гараж джипы мыть. Но Кудрявый не оправдал доверия — стянул у хозяины полтыщи лир, и тот выгнал его взащей. Вот он и слонялся с такими же лоботрясами по Донна Олимпия, Одзанам или Монте-Казадио, играл в мяч на выжженном пустыре между Граттачели и Монте-ди-Сплендоре или резался в карты на ступеньках бывшей начальной школы Джорджо Франчески, где теперь разместились беженцы; а как стемнеет, приставал к женщинам, приходившим сюда раскладывать белье для просушки.

На мосту Гарибальди друзья спрыгнули с трамвая. Кругом ни души и знойно, как в Африке. Но под сводами моста вся Чириола бурлит купальщиками. Кудрявый и Марчелло уперлись подбородками в раскаленные железные перила и долго смотрели, как народ загорает у воды, играет на берегу в карты или в догонялки. Малость поспорив, куда бы им дальше наострить лыжи, они вновь прицепились к полупустому, дребезжащему трамваю, который лениво полз к Сан-Паоло. Доехав до Остии, они побродили между столиками баров,

газетными лотками, палатками и турникетами, подбирая окурки. Но скоро им это наскучило: жарыща — не продохнуть, одно спасенье — ветерок, изредка налетающий с моря.

— Слышь, — предложил обалдевший от солнца Марчелло, — может, и мы окунемся?

— Давай, — процедил сквозь зубы Кудрявый.

За парком Паолино и позолоченным куполом Сан-Паоло, по ту сторону увешанной афишами дамбы, струился Тибр, являвший собою довольно унылое зрелище: ни паромов, ни лодок, ни купальщиков, лишь справа лес подъемных кранов, антенн и дымоходов. На фоне дышащего зноем неба высился огромный газомер, а дальше, до самого горизонта, раскинулся район Монтеверде, поднимающийся уступами обшарпанных сельских домишек, — отсюда они походили на выцветшие от солнца шкатулки. Вдали виднелись закопченные сваи недостроенного моста, а под ними закручивалась воронками грязная вода. Берег со стороны Сан-Паоло порос камышом и колючками. Кудрявый и Марчелло бегом спустились к воде, но купаться под мостом не стали — отошли на полкилометра подальше, где Тибр изгибался широкой излучиной. Кудрявый распластал на траве длинное голое тело, закинул руки за голову, уставился в небо.

— А ты раньше в Остии бывал? — вдруг спросил он у Марчелло.

— Ты что, сдурел? Я тут родился!

Кудрявый вылупил на него глаза.

— А хоть бы и помер! Откуда мне знать, где ты родился?

— Так знай.

— Может, ты и на пароходе плавал? — осведомился Кудрявый.

— А как же!

— И далеко?

— Да иди ты! — добродушно отозвался Марчелло. — Все ему расскажи! Что я, помню? Мне тогда и трех лет не было.

— Вот и я говорю, ты так же на пароходе плавал, как я в задницу лазил! — презрительно бросил Кудрявый.

— Ну и сиди в ней, — парировал Марчелло.

— А мы с дядькой каждый день на паруснике ходили, вот те крест!

— Заливай больше! — Кудрявый поцокал языком. — Э-э, глянь, чего там?

У самого берега среди прочего мусора проплывали разбухший от воды ящик и ночной горшок. Друзья подошли поближе к черной от мазута воде.

— Вот бы сейчас на лодке прокатиться! — вздохнул Кудрявый, не сводя глаз с ящика.

— На Чириоле лодки на прокат дают.

— А деньги где?

— Ну ты и дуболом! Да у водопровода враз разбогатеешь. Видал, как Херувим ключом шурует?

— Ну? — удивился Кудрявый. — А мы чего ушами хлопаем?

Но уходить было неохота, раз уж забрались в такую даль. Они валялись на берегу дотемна, подстелив под голову пропыленные, пропотевшие штаны. Собирали камушки со дна реки, швыряли их по воде — или целясь в низко паривших ласточек, или подбрасывая целые пригоршни над головой наподобие дождя. Потом вдруг услышали возглас, донесшийся из кустов. Ребята резко обернулись и в надвигающихся сумерках увидели стоящего на четвереньках негра. Они мигом просекли, что к чему, и на всякий случай отбежали подальше. Затем, подхватив еще камней, уже нарочно запустили в кусты.

Оттуда поднялась разъяренная полуголая девица и начала поливать их отборной бранью.

— Ну ты, шалава, — сказал ей Кудрявый, подбоченясь, — сиськи-то подбери — вишь, по земле волочатся!

Негр выскочил из кустов, как тигр, и, одной рукой придерживая штаны, в другой сжав нож, бросился за ними вдогонку. С криками “Убивают!” Кудрявый и Марчелло смазали пятки. Цепляясь за кусты, взлетели на дамбу и лишь наверху набрались духу обернуться.

Негр стоял на берегу, размахивал ножом и драл глотку. Приятели сбежали с откоса и, переглянувшись, схватились за животы. Кудрявый катался в пыли и судорожно всхлипывал:

— Ой, не могу, ой, Боженька! А ты ведь со страху в штаны надделал, а, Марче?

Наконец они вышли на набережную и двинулись в сторону Сан-Паоло, купол которого слабо поблескивал в лучах заката. Под деревьями парка Паолино прогуливались рабочие и солдаты в увольнении. Прижимаясь к стене собора, друзья миновали плохо освещенный участок улицы. Тут, вытянув ноги на весь тротуар, просил милостыню слепой.

Кудрявый и Марчелло уселись рядышком — отдышаться. Почуввав людей, нищий завел свою нуду. Ноги широко разведены, кепка меж них полна монет. Кудрявый локтем ткнул Марчелло в бок.

— Обалдел, что ль? — буркнул тот.

Кудрявый шумно выдохнул и снова пихнул приятеля: мол, что делать будем? Марчелло пожал плечами: это без меня. Кудрявый злобно глянул на него и прошипел:

— Жди вон там!

Марчелло перешел на другую сторону и спрятался в тени деревьев. Кудрявый выждал секунду, огляделся — не идет ли кто — и запустил руку в кепку слепого. Вместе с Марчелло они удалились на безопасное расстояние, встали под фонарем и пересчитали добычу: набралось почти полтыщи.

Утром женский монастырь и дома по виа Гарибальди остались без воды.

Лишь когда стемнело, Марчелло и Кудрявый разыскали Херувима перед начальной школой Франчески; он гонял под луной мяч вместе с другими ребятами. Они велели ему сходить за водопроводным ключом, и Херувим не заставил себя уговаривать. Втроем они направились в Затиберье искать местечко, где их никто не потревожит. Тихий уголок нашелся на пустынной в этот час виа Манара. Они присели и начали спокойно вскрывать люк. На верхнем этаже внезапно распахнулась балконная дверь, оттуда выглянула заспанная, но вся размалеванная старуха.

— Эй, вы чего там забыли?

Кудрявый поднял голову и невозмутимо объяснил:

— Да ничего, синьора, трубу прочищаем.

Они закончили работу, свинтили все, что можно, под крышкой, прихватив и ее саму, обвешались арматурой и пошли себе не спеша к полуразрушенному дому у подножия Яникула — раньше там был гимнастический зал. Бывалый Херувим отыскал в углу кувалду, и они живо разделали крышку люка на куски.

Теперь оставалось найти покупателя. Херувим и тут не подкачал — повел их какими-то темными проулками, где им тоже никто не встретился, кроме двух-трех пьяных. Под окнами старьевщика Херувим сложил рупором ладони и позвал:

— Эй, Анто!

Старьевщик спустился, пригласил их в лавку и, взвесив чушки (они потянули на семьдесят кило), дал за них две тысячи шестьсот лир. Такое дело надобно до конца довести, решили друзья. Херувим снова сбежал в спортивный зал за необходимым инструментом, потом они поднялись по лестнице на Яникул, перекрыли воду и вырезали шестиметровый кусок трубы. Вновь размолотили его и снесли по кускам к старьевщику, получив по сто пятьдесят лир за кило. Около полуночи с туго набитыми карманами вернулись к Граттачели, где застали Рокко, Альваро и других парней за игрой в карты. Сидя кто на корточках, кто по-турецки, те расположились на лестничной площадке дома Рокко. Оттуда дверь вела во внутренний дворик, через который как раз надо было пройти Херувиму, чтобы попасть домой, а Кудрявый и Марчелло вызвались его проводить. Однако их усадили играть по крупной в ландскнехт, и за полчаса они спустили почти все деньги. К счастью, Кудрявый припрятал в ботинок полтыщи, украденные у слепого, чтобы завтра заплатить за прокат лодки.

— Опять рвань голоштанная! — прокомментировал паромщик, видя, как они спускаются по дымящемуся тротуару к пристани.

Кудрявый не удержался и вспрыгнул на качели. Разок-другой качнулся и побежал догонять остальных, которые уже взошли на причал и отсчитывали пятьдесят лир жене Орацио, сидящей в будочке на волнах Тибра. Джиджетто встретил их не слишком любезно.

— Сюда! — буркнул он, указав всем троем на одну тесную кабинку.

Ребята малость растерялись.

— Ну, чего рты поразевали! — напустился на них сердитый сторож. — Может, вам еще штаны расстегнуть?

— Да чтоб ты сдох! — выругался Херувим и, не дожидаясь приглашения, стянул через голову рубаху.

А Джиджетто не унимался:

— Шпана чертова, проходу от вас нет, мать родную ограбить готовы!

Шпана притихла и по-быстрому разделась.

— Ну? — грозно прикрикнул сторож, просунув голову в кабинку. — Долго я вас буду ждать?

Они растерянно переминались с ноги на ноги, прижимая к себе одежду. Джиджетто вырвал у них лохмотья, кинул в шкафчик, запер на ключ. Его сопляк-сын, ухмыляясь, глядел на новеньких. Другие парни — кто совсем голый, кто в длинных, по колено, трусах, — насвистывая, приглаживали волосы перед зеркальцем и косились на них, как бы говоря: “От горшка два вершка, а туда же!” Завязав на бедрах тесемки чересчур широких плавок, они высыпали из раздевалки и сгрудились у железных поручней. Но тут сам Орацио, подволакивая ногу, вышел из будки и с налитым кровью лицом стал на них орать:

— Чтоб вы сдохли, паразиты! А ну, отойдите от поручней, не хватало, чтоб вы мне их переломали!

Он плюхнулся в плетеное кресло и еще добрых десять минут разорялся, а друзья под его крики гуськом прошли мимо душевой стойки, мимо резавшихся на палубе в карты и дымивших папиросами парней к мосткам, что соединяли паром с берегом; на этих мостках ребят уже поджидал, высунув язык и виляя хвостом, резвый мохнатый щенок. Тут же заразившись его веселостью, шпана принялась носиться с ним наперегонки вдоль каменного парапета. Ненадолго остановились у вышки, затем побежали к Понте-Систо.

Половина второго; в этот час на улицах Рима никого нет, кроме солнца. Воздух натянут, как барабан — того гляди, лопнет. От раскаленных набережных несет мочой. Тибр лениво катит свои мутно-желтые воды, словно подгоняемый кучами плывущих по нему отбросов. Группа служащих — человек шесть-семь — удалилась, как только прогудело два, и ей на смену подросла компания сорванцов с пьязца Джулия. Потом потянулось хулиганье из Затиберья и Понте-Систо, — вопят, смеются, только и ждут, кого бы охмурить. Высыпали на замусоренный пляж, заполонили причал и палубу, набились в раздевалки. Словом, расплозились повсюду, как червяки. Десятка два ребятешек облепили вышку, стали с нее прыгать — и ласточкой, и топориком, и с пируэтами. Вышка невысокая, метра полтора, не больше, сопливые шестилетки, и те ныряют. Прохожие то и дело останавливались поглядеть с моста. На парапете набережной, под нависшими ветвями платанов, тоже сидели и глазели на прыгунов какие-то парни. Многие развалились на песке или на чахлой травке, чудом сохранившейся в тени каменного парапета.

— Смертельный номер! — крикнул столпившимся маленький, чернущий, как арап, волосатый пацан.

Только Никола обернулся, как тот, растопырив руки и ноги, рухнул плашмя в желтую воду. Под хохот Николы остальные стали презрительно цокать языком, приговаривая:

— Ну, молоток!

Потом вся компания вяло, точно стадо баранов, побрела к качелям у самого берега, чтобы поглазеть на дурошлепа, который еле-еле волочил свои полсотни килограммов после пережитого удара. Ребята, гогоча, окружили его, едва он вышел из воды. У вышки остались только Марчелло, Кудрявый, Херувим и собака — общая собственность.

— Ну! — сдвинул брови Херувим.

— Баранки гну! — огрызнулся Кудрявый.

— Какого мы сюда приперлись?

— Купаться, — пожал плечами Кудрявый и стал карабкаться на вышку.

Щенок побежал за ним.

— Тоже попрыгать хочешь? — обернувшись, весело спросил Кудрявый.

Пес глянул ему в глаза и завилял хвостом.

— Ну давай. — Кудрявый соскочил вниз, взял пса за шкуру и потянул к вышке. — Как нырять будешь — ласточкой или топориком?

Щенок затрясся и стал упираться.

— Ага, боишься! А чего тогда увязался, паршивец? — Кудрявый наклонился и ласково потрепал пса. Потом сунул ему палец в раскрытую пасть. — Ишь, зверюга! Да не дрейфь, не стану я тебя в воду швырять.

Но пес вырвался и на всякий случай отбежал подальше.

— Ну, ты будешь прыгать или нет? — насмешливо окликнул его Херувим.

— погоди, нужду справить надо, — ответил Кудрявый и отбежал к забору помочиться.

Щенок, виляя хвостом, понесся следом.

Тогда Херувим разбежался и прыгнул.

— Во придурок! — заметил Марчелло, увидав, как он тоже плюхнулся брюхом.

— Не слабо прыгнул, а? — крикнул, вынырнув, Херувим.

— Ща я тебе покажу, как прыгать надо, — наставительно проговорил Кудрявый и, разбежавшись, сиганул с вышки. — Ну как? — спросил он у Марчелло, вынырнув на поверхность.

— А ноги-то чего раскорячил?

— Ладно, повторим, — сказал Кудрявый и выбрался на берег.

Компания, сгрудившаяся было вокруг Поганца, который показывал класс в поднятии тяжестей, бросила его и потянулась к вышке. Ребята постарше подходили вразвалочку, небрежно сплевывая, а мелочь пузатая — вприпрыжку и с визгом. Вскоре человек пятьдесят заполнили грязную лужайку вокруг вышки. Первым прыгнул белобрысый, прыщавый Поганец, в прыжке ласточкой показав окружающим свой срам. За ним сиганули Рем, Бесстыжий, Черномазый, Оковалок, Прохвост. Мелюзга тоже не оплошала. Лучшее всех нырнул Эрколлетто — недаром говорят: мал, да удал. Он разбежался на цыпочках, раскинул руки и, легкий, как перышко, спланировал на воду. Кудрявый надулся, отошел и сел на траву, обхватив колени и глядя исподлобья на ребячий муравейник. Херувим и Марчелло присоединились к нему. Вдруг пляж огласился отчаянным воплем; ребята вскочили от неожиданности: ноги в песке, трусы прилипли к телу, в глазах злоба — всех убить готовы. Оказалось, крики предвещали нырок Оковалка, упитанного парня с противной, гладкой, как яйцо, рожей. Он сорвался с края вышки и, падая в воду, опять заорал не своим голосом:

— Чтоб вы все сдохли!

— Сам гляди не утони! — смеясь, отозвался с берега Рем.

Из воды в них полетели комья ила. Один достиг набережной и угодил в Недомерка, обляпав его с головы до ног.

Тот сделал свирепое лицо и заголосил:

— Да чтоб вы сдохли, сволочи!

Но он так и не понял, кто обидчик, поскольку все с хохотом глядели на реку. Только отвернулся — в затылок ему вlepили еще ком грязи.

— Чтоб вы сдохли! — снова взвыл он и, подлетев, схватил за грудки Рема.

— Тебе чего? — ощерился тот. — Сам сдохни вместе с дедом своим и бабкой!

А комья грязи все мелькали в воздухе. Кто — то, стоя по колени в речном иле, метал вверх целые пригоршни; прочие, сидя в воде с невозмутимым видом, то и дело украдкой добавляли ком-другой к хлещущему грязевому ливню.

Увесистый шматок вскоре угодил в лицо и Рему.

— Чтоб вы сдохли, сучьи дети! — крикнул он и, пригнувшись, побежал по пригорку к

воде.

— Моя очередь! — заорал Поганец и тоже прыгнул, извиваясь, отчаянно работая локтями в воздухе. С оглушительным всплеском он плюхнулся на воду спиной.

За ним с обычным приговором «чтоб вы сдохли» нырнул Бесстыжий.

— Эй, Прохвост! — завопил он из воды.

— Ну, чего тебе? — недовольно отозвался Прохвост.

— Ага, кишка тонка! — в один голос поддразнили его Бесстыжий и Поганец.

— Чтоб вы сдохли, дубье! — проворчал себе под нос Кудрявый, наблюдая за представлением.

— Ну что, лодку-то брать будем? — напомнил Херувим.

Так как из всех троих грести умел только Марчелло, ему и выпало начинать маневры. Они двинулись вдоль берега к груде старых, разломанных байдарок.

— Ну давай, Марче, не тушуйся, — подбодрил его Херувим.

Марчелло вернулся на паром и начал ходить кругами возле полупьяного Забулдыги, который усердно скоблил ножом палубу.

— Сколько стоит взять лодку? — без предисловий выпалил Марчелло.

— Полторы, — отозвался Забулдыга, не прерывая своего занятия.

— Нам дадите?

— Как вернется, дам.

— А скоро она вернется?

Забулдыга наконец поднял на него мутные глаза.

— Да чтоб ты сдох! Почему я знаю, скоро или нет? — Он перевел взгляд на реку у Понте-Систо. — Вон она. Сразу платить будете или потом?

— Сразу. Схожу за деньгами! — обрадовался Марчелло.

Но он забыл про Джиджетто: этот оказался орешек покрепче. Перед взрослыми лебезил, а пацанов готов был всех утопить, как котят. Марчелло потоптался около него, ожидая, что сторож обратит на него внимание, но тот и ухом не вел. Так, не солоно хлебавши, Марчелло и вернулся к байдаркам.

— Какого хрена! — кипятился он. — Им что, деньги не нужны? Не сторож, а говно собачье! Битый час у него над душой стоял, а он хоть бы хны!

— Слюнтяй ты и больше никто! — рассердился Херувим.

— А вот это видал? — Марчелло выбросил вперед такую же грязную фигу, какую получил от Джиджетто. — Ступай сам и договаривайся.

— Оба вы хороши, — рассудил Кудрявый.

— Ну да! Уж я бы ему, сволочуге, показал!

— Ты-то показал?! Ну вот иди и покажи, а мы поглядим!

Херувим отправился толковать с Джиджетто и вскоре вернулся, зажав в кулаке полторы тысячи, а в зубах окурки. Они пошли к причалу ждать возвращения лодки, а едва она освободилась, влезли в нее. Кудрявый и Херувим в первый раз отправлялись в плавание.

Сперва лодка, хоть убей, не желала трогаться. Марчелло надрывался на веслах, а она ни с места. Но потом потихоньку начала отплывать от баржи, раскачиваясь, как пьяная.

— Тоже мне! Хвастался, что грести умеет! — во все горло орал Херувим.

А лодка точно сбесилась. Течением ее сносило к мосту Гарибальди, но то и дело нос как бы случайно разворачивало в противоположную сторону, и она устремлялась к Понте-Систо. Забулдыга, вцепившись в поручни, кричал им что-то вслед — так, что жилы на шее чуть не лопались.

— Чтоб я сдох, — снова крикнул Херувим, — мы к Фьюмичино плывем!

— Да заткнись ты! — огрызнулся Марчелло, налегая на весла, которые то проскальзывали над водой, то погружались по самую рукоять. — Поди-ка сам попробуй!

— Так я ж не из Остии родом! — не унимался Херувим.

Чириола осталась далеко за кормой. Под сенью платанов вдоль берега тянулся во всю длину от Понте-Систо до моста Гарибальди парапет набережной. По берегу рассыпалась

ребятня — кто на качелях, кто на вышке, кто на самодельном плоту. Но их фигурки все уменьшались, и голоса стали неразличимы.

Вместе с ящиками, обломками и прочим мусором течение увлекало лодку к мосту Гарибальди. Под мостом пенилась и закручивалась вода между отмелями и рифами острова Тиберина. Забулдыга заметил это и еще пуще завопил с парома. Лодка уже доплыла до огороженного лягушатника, где плескались ребята, не умеющие плавать. На крики Забуддыги из главной каюты выглянул Орацио и с ним еще какие-то зеваки. И впрямь, есть чем полюбоваться: Орацио руками машет, кричит — помрешь со смеху! Кудрявый удивленно глянул на Марчелло.

— Ты что, потопить нас вздумал?

Но Марчелло понемногу приходил в себя. Нос лодки теперь был повернут к противоположному берегу, а весла попали в такт небыстрому течению.

— Греби вон туда, — распорядился Херувим.

— Куда это — туда? — проворчал Марчелло, с которого уже пот градом лил.

Если берег Чириолы был весь залит солнцем, здесь царила тень от утесов, покрытых слоем жирной сажки. Кое-где они поросли колючками и низеньким зеленым кустарником; почти стоячая вода кишела отбросами. Наконец они подплыли к утесам, и, поскольку течение тут, можно сказать, отсутствовало, Марчелло начал потихоньку забирать к Понте-Систо. Весло в уключине скреблось о камни, и Марчелло прилагал все усилия, чтоб не расколоть его в щепки или не упустить.

— Ну ты чего, давай туда! — понукал Кудрявый, не обращая внимания на муки приятеля.

Ему хотелось плыть по самой середине реки, на просторе, и он бесился, видя, что до серой громады Понте-Систо на фоне замызанного зеркала вод, и до Яникула, и до купола Святого Петра — огромного, белого, словно облако — рукой подать. Потихоньку они догребли до Понте-Систо. Под правой опорой моста, глубокая грязно-зеленая вода совсем застоялась. Тут быстрины можно было не бояться, и Херувим заявил, что теперь он сядет на весла. Но куда там! Весла мелькнули в воздухе и забрызгали всю лодку.

— Ну ты, образина! — вскипел Кудрявый.

А выбившийся из сил Марчелло плюхнулся на дно и растянулся в теплой воде, на два пальца заполнившей суденышко. Ребята смеялись, наблюдая бесплодные усилия Херувима. Кудрявый тем временем пристроился порыбачить со ступенек моста.

— Эй, остолоп, — поддразнивал он приятеля, — Расскажи-ка нам, кто тебя грести научил!

— Кто научил? Да вот этот хрен! — огрызнулся Херувим. — При таком учителе какой с меня спрос?

— Хрен? — притворно удивился Кудрявый. — Ну и засунь его себе в рот!

— Сам засунь! — набычился Херувим.

— Говнюк! — хором крикнули Марчелло и Кудрявый.

— Сучьи засранцы! — не оплошал Херувим. Он изо всех сил работал веслами, но безуспешно: лодка ни на сантиметр не сдвинулась. Под левой опорой моста разлеглась на камнях другая компания загорелых дочерна и пропыленных “сучьих засранцев”, которые задремали было на солнышке, но крики троицы из лодки разбудили их. Продрав глаза, они сгрудились под опорой.

— Эй, висельники, обождите нас!

— А этим какого надо? — сдвинул брови Кудрявый. Потом единым духом вскарабкался до середины опоры, с гиком нырнул вниз и поплыл саженками на середину реки.

— Чего вам? — крикнул Марчелло.

— Гребите сюда! Гребите, тебе говорят, а то хуже будет!

Ребята были поздоровее их, с такими не поспоришь. Они быстро попрыгали в лодку; один потеснил плечом Херувима и сам сел на весла.

— За мост поплывем.

И в упор глянул на Херувима, как бы спрашивая: “Не возражаешь?”

— Давай, — покорно согласился Херувим.

Парень стал энергично грести, но под опорой были воронки, да и лодка перегружена: за четверть часа они продвинулись всего на несколько метров.

Взгромоздившись в лодку, четверо крепких ребят запели:

Старый город,
серые крыши под серым небом...
К тебе спешу я...

Наверное, их было слышно и на Понте-Систо, и на набережных. Переполненная лодка осела в воду чуть не до краев и все же ползла вперед.

Кудрявый, не глядя на незваных гостей, развалился на дне, голову свесил через борт, так что она почти касалась воды, и вообразил, будто он в открытом море.

— Пираты на горизонте! — Он скривил жуликоватую физиономию сорванца из Затиберья и вспрыгнул на корму.

Новая компания продолжала распевать, как ни в чем не бывало. Покричав и помахав руками, Кудрявый снова улегся, оперся на локоть и стал внимательно разглядывать что-то возле берега, под самой аркадой Понте-Систо. Но вода в том месте бурлила и расходилась кругами — словно кто белье полощет. Наконец Кудрявый, напрягая глаза, усмотрел посреди водоворота черный лоскут.

— Чегой-то там? — спросил он, вновь поднимаясь на ноги.

Все уставились под последний пролет моста, куда он указывал.

— Подумаешь, ласточка! — равнодушно бросил Марчелло.

Сотни ласточек летали низко над парапетом и над рекой, почти касаясь воды крыльями. Течением лодку отнесло чуть назад, и все ясно увидели, что одна ласточка тонет. Она барахталась и отчаянно била крыльями. Кудрявый опустил на колени, всем телом подался вперед.

— Ну ты, скотина, лодку перевернешь! — крикнул ему Херувим.

— Не видишь — она тонет!

Правивший парень поднял весла над водой, и лодку понесло прямо к птице. Но ему это вскоре надоело, и он опять приналег на весла.

— Стой! — взвился Кудрявый, хватая его за руку. — Кто тебе велел грести?

— У тебя не спросил! — отозвался тот и показал ему язык.

Кудрявый, не отрываясь, смотрел на ласточку, которая билась все медленнее: должно быть, намокли крылья. Потом, не сказав ни слова, кинулся в воду и поплыл. Остальные стали кричать что-то ему вслед и смеяться, а парень на веслах продолжал грести против течения. Кудрявый, как метеор, приближался к тонущей ласточке. Вскоре он совсем скрылся из вида.

— Кудря-а-авый! — заорал Марчелло во всю глотку. — Хватай ее скорей!

Кудрявый услышал и откликнулся издали:

— Клюется!

— Да чтоб она сдохла! — рассмеялся Марчелло.

Кудрявый все пытался схватить птицу, но та не давалась и хлопала крыльями, выбиваясь из сил. Понемногу обоих сносило к опоре.

— Кудрявый! — закричали приятели, испугавшись, как бы его не затянуло в воронку. — Брось ее, Кудрявый!

Ну Кудрявый наконец сумел сграбастать ласточку и одной рукой погреб к берегу.

— Давай назад, — приказал Марчелло парню на веслах.

Тот без звука развернулся. Кудрявый поджидал их, сидя на грязной траве у бережка с ласточкой в руках.

— Чего она тебе зандобилась? — удивился Марчелло. — Поглядели бы, как утопнет.

Кудрявый ответил не сразу.

— Промокла вся, — проговорил он наконец.

— Обождем, пока обсохнет.

Птица обсохла быстро. Спустя пять минут она уже летела над Тибром, и Кудрявый не отличил бы ее от остальных.

2. Кудрявый

Лето 1946-го. На углу виа Цокколетте Кудрявый увидал под дождем группу людей и не спеша направился к ней. Среди тринадцати или четырнадцати зонтиков выделялся один, гораздо больше остальных, с припиленными сверху тремя картами — бубновым тузом, тузом червей и шестеркой. Мешал карты Неаполитанец, народ ставил по пятьсот лир, по тысяче, а то и по две. Кудрявый постоял с полчаса, следя за игрой. Один чересчур азартный синьор все время проигрывал, а прочие — тоже неаполитанцы — то проигрывали, то выигрывали. Когда толпа наконец рассеялась, уже начинало темнеть. Кудрявый подошел к Неаполитанцу, мешавшему карты, и спросил:

— Можно словцо сказать?

Тот вскинул подбородок.

— Ну?

— Из Неаполя, что ль?

— Ну?

— Это у вас в Неаполе так играют?

— Ага.

— И как это?

— Н-ну... враз не объяснишь, но научиться можно.

— А меня научишь?

— Могу, — сказал Неаполитанец, — только...

Он хитровато улыбнулся, словно замышляя какую-то каверзу или намекая: ты мне — я тебе. Потом утер мокрое от дождя губастое лицо, молодое, но уже изборожденное морщинами, и заглянул Кудрявому в глаза.

— Научу, отчего не научить. — И, поскольку тот помалкивал, добавил: — Баш на баш!

— Идет, — серьезно ответил Кудрявый.

Тем временем вокруг зонтика опять начали собираться люди; среди них были те же неаполитанцы, что и в первый раз.

— Обожди пока, — бросил Кудрявому его новый приятель, снова раскладывая карты на зонтике.

Кудрявый отошел в сторонку и стал следить за игрой. Прошло часа два. Дождь стихал; почти совсем стемнело. Неаполитанец наконец собрался уходить: сложил зонт, спрятал карты в мешочек и оглядел товарищей по игре. Их осталось двое: один белобрысый, щербатый, другой низенький, в клетчатых штанах по колено, как у иудея. Они приветливо раскланялись с Неаполитанцем, который сослался на дела, и даже Кудрявому кивнули на прощанье.

— Пошли, — бросил Неаполитанец.

Кудрявый поплелся за ним. Они сели в трамвай, слезли у Понте-Бьянко и вскоре очутились на виа Донна Олимпия. Мать Кудрявого сидела посреди единственной их комнаты с четырьмя кроватями по стенам, которые были даже не стенами, а перегородками. Она поглядела на вошедших и осведомилась:

— А это кто?

— Приятель, — небрежно и властно бросил Кудрявый.

Но мать разбубнилась, а уж если мать начнет нудеть, ее никакими силами не остановишь, поэтому Кудрявый заглянул в соседнюю комнату, где проживало семейство Херувима, — есть ли там кто из взрослых. Там оказалось только трое малолеток, хныкавших

и утиравших сопли. Они с Неаполитанцем зашли и уселись на кровать Херувима и его младших братьев, что спали без задних ног, устроившись на одеяле в подпалинах — не иначе, вытащили из-под утюга.

Неаполитанец начал урок:

— Играем впятером: один сдает, остальные толпятся вокруг и делают вид, будто они прохожие и остановились поглядеть. Допустим, я сдающий и начинаю игру, а кореша вокруг зонтика делают толпу. Подходит народ, и тут один кореш вроде бы вспоминает про дела и уступает место кому-нибудь из подошедших... Сперва тот не знает — играть ему или нет. А кореша играют: ставят деньги — кто тыщу, кто две. И когда новенький наконец раскошелливается, сдающий, допустим, я, кидает ему карту. Корешу — то я всегда хорошую карту сдаю, а плохую в середину сбрасываю. А тот лопух игры не знает и не видел, что я подменил карту, потому тоже ставит. Тут я говорю: “Только если проиграете, я не виноват”. Мой кореш обижается: “Чего это мы проиграем, с какой стати? А вот и выиграем!” — “Ладно, открывайте карты”. Кореш выигрывает, а тот проигрывает. Когда лопух спустил уже порядком, кореш снова начинает кон и ставит, скажем, тыщу...

Неаполитанец еще долго объяснял правила, а Кудрявый слушал, слушал, как он языком чешет, и ничегошеньки не понимал. Когда тот наконец умолк, он заявил:

— Слышь, чумазый, а ведь я ни хрена не понял. Может, снова объяснишь, а?

Но тут пришла мать Херувима.

— Извините, синьора Челесте, — сказал Кудрявый, направляясь к двери и таща за собой Неаполитанца, — надо было с приятелем словом перемолвиться.

Синьора Челесте, черная, волосатая, словно куст портулака, ничего не сказала, и парни выскользнули наружу, усевшись на ступеньках школы. Неаполитанец вновь пустился в объяснения, вошел в азарт, раскраснелся, словно спагетти в томатном соусе, навис над Кудрявым, заглядывая ему в глаза, и говорил, говорил без умолку, а тот всё кивал. Иногда замолкал на секунду, чтобы подчеркнуть сказанное, расставлял ноги пошире, приседал, выпячивал живот, разводил руками, ловя невидимый мяч, и вопросительно смотрел на собеседника.

Наконец шлепнул губищами и выдохнул:

— Уф!

Казалось, некая просветляющая мысль вдруг пронзила его мозг и непременно должна была осенить Кудрявого. Весь этот цирк он устроил в надежде заработать полтыщи. Но Кудрявый и на сей раз ничего не понял. Стемнело. Вереницами зажигались окна и балконы Гратгачели. Повсюду орали на всю мощь радиоприемники; из кухонь раздавался звон тарелок и женский визг или пение. Перед сидящими в темноте проходили люди — каждый по своим делам. Кто горбился под мешком натыренного добра, кто, освободившись от домашнего гнета, отправлялся погулять с друзьями.

— Пошли пропустим стаканчик, — расщедрился Кудрявый, словно тридцатилетний отец семейства, справедливо полагая, что у нового знакомого пересохло в горле.

При упоминании о стаканчике у Неаполитанца загорелись глаза, но, храня достоинство, он лишь процедил:

— Пойдем. — И, не умолкая ни на минуту, зашагал бок о бок с Кудрявым к Монтеверде — Нуово.

Кудрявый в который раз слушал, как надо обжуливать лопухов на зонтике и как кореш должен делать ставки, то выигрывая, то проигрывая, и как добиться, чтобы лопух — полный кретин, однако человек зажиточный и потому достойный уважения среди прочего сброда — увлекся игрой и широким жестом ставил тысячу, а то и две... Неаполитанец, который на самом деле был родом из Салерно, мастерски изображал жесты и мины лопуха.

Они двинулись к Монтеверде-Нуово, поскольку виа Донна Олимпия Кудрявому страсть как надоела вместе со всеми ее обитателями.

— Там хоть есть на кого посмотреть, — заметил Кудрявый в оправдание столь дальнего пути — сперва по вздыбленному асфальту грязной улицы, потом по тропке меж

замусоренных пустырей, за которыми начинались бараки беженцев.

И в бараках, и в Монтеверде-Нуово субботними вечерами царит шум, суета, веселье. Двое ребят направились в остерию на рыночной площади, где трамвайный круг. Остерия обнесена плетнем, а внутри совсем темно. Они сели на обшарпанную скамью, заказали пол-литра “Фраскати”. Их развезло едва ли не с первого глотка. Неаполитанец в четвертый раз пустился в объяснения, но Кудрявый уже не слушал — осточертело. Да и сам Неаполитанец устал который раз повторять одно и то же. Кудрявый глядел на него со смиренной и чуть насмешливой улыбкой, и тот, заметив ее, тут же умолк. К обоюдному удовольствию, они заговорили о другом. Им было что порассказать о жизни в Риме и Неаполе, об итальянцах и американцах, и делали они это с полным уважением друг к другу — однако нет-нет да и подколет один другого, поскольку в глубине души считает его дубиной, а кроме того, так хочется поговорить самому, а чужих не слушать.

Неаполитанец с каждым граммом выпитого вел себя все более странно: после двух стаканов лицо стало такое, словно по нему прошлись наждаком и стерли все выпуклости, — не рожа, а ростбиф; глаза полузакрыты, будто их слепят несуществующие прожектора, а губищи склеились и свисают чуть не до пупа. Голос у него стал какой-то хнычущий, взгляд остекленел — и то, и другое не под стать многозначительным словам, которыми он сыпал, полностью перейдя на диалект. Весь потный, он скрючился на табурете, улыбался и не сводил с Кудрявого взгляда, полного братской любви.

— Слышь-ка, — говорит он. — Я ща те такое скажу, ей-бо!

— Чего скажешь? — спрашивает Кудрявый, у которого тоже язык заплетается.

Но Неаполитанец лишь грустно всхлипывает, трясет головой и молчит.

— Это, знаешь, такая вещь, — наконец решается он. — Одному тебе скажу, ведь ты мне друг!

Оба до глубины души растроганы этим заявлением. Неаполитанец вновь умолкает, а Кудрявый заговорщицки подмигивает.

— Ну, скажи... Если хочешь, конечно. А не хочешь — не надо.

— Скажу. Токо ты мне обещай!

— Чего?

— Никому! — тихо и торжественно провозглашает Неаполитанец.

Кудрявый строит серьезную мину, выпячивает грудь и прижимает к ней ладонь.

— Слово чести!

После такой клятвы Неаполитанец словно вдруг обрел второе дыхание — глаза-щелочки оживились, забегали — и начал кошмарное повествование о том, как железной лопатой прикончил на виа Кьяйя одну старуху и двух ее дочерей, старых дев, а потом поджег трупы. Полчаса нес он эту ахинею, повторяя одно и то же по два-три раза и все время сбиваясь. Кудрявый хранил невозмутимость: он сразу просек, что это пьяный бред, но слушал внимательно, притворялся, будто верит каждому слову, чтобы заслужить право на свои байки. У него тоже найдется что вспомнить: с тех пор, как в Рим вошли американцы, тут много всякого было.

За два года он стал полным прохвостом. Но ему все равно далеко до того парня, что недавно одернул его на одном сборище:

— Беги домой, сопляк, мамка заругает!

— А твоя?

— Моя гробанулась, — ответил тот с ухмылкой.

— Чего? — переспросил Кудрявый.

— Померла, говорю, — объяснил тот, забавляясь потрясением Кудрявого.

Так вот, если он пока и не стал таким, то скоро станет. В свои годы Кудрявый уже повидал людей всех сортов и понял, что, в сущности, между ними нет большой разницы. Наверно, теперь и он мог бы, как другой его знакомый, который живет у Ротонды, пришить на пару с дружкой одного фраерка за какую-нибудь тысячу лир. А когда тот дружок ему сказал: “Кажись, мы его прикончили!” — он, даже не взглянув, передернул плечами:

“Подумаешь, делов-то”.

Слушая Неаполитанца, Кудрявый предавался воспоминаниям и, едва тот умолк, перевел разговор на любимую свою американскую тему. В отличие от собеседника, он собирался рассказать чистую правду.

— Ну так вот, — бесстрастно, как на светском рауте, начал Кудрявый.

И поведал две-три истории, одна другой смачнее, из времен, когда в Риме стоял американский корпус. В тех историях, он, естественно, фигурировал в качестве главного действующего лица.

Неаполитанец глядел на него и кивал задумчиво и устало. Потом вдруг набычился и, не меня выражения лица, выпалил:

— Ну а теперь я!

И опять понес на полчаса про свое преступление. Кудрявый дал ему выговориться, как положено, хотя его уже смех разбирал. И, как только тот в очередной раз выдохся, завел опять про свое:

— Американцы вообще-то добрые... Меня они, правда, бесили, но при них нам хорошо жилось. А поляки, ити их мать, вот уж сволочи, так сволочи! Помню, намылились мы что-то стырить из их лагеря. Идем, значит, и вдруг слышим крики. Подошли — а там в пещере две шмары с поляками базарят, денег требуют. Один вышел — мы, ясное дело, в кусты, — а другой остался с теми шмарами. Они, дуры, небось подумали, что первый за денежками пошел. А он вернулся с канистрой, у входа пробку отвинтил, позвал своего кореша, и как начали они поливать тех шмар бензином. Потом один чиркнул спичкой да и поджег их. Мы услышали вопли, прибегаем, а они уж запылали.

Неаполитанец хотел было вновь взять слово, но уже не смог разлепить налитые свинцом веки, только и выдавил из себя:

— Может, еще по стаканчику?

Кудрявый лишь усмехнулся в ответ и пропустил эту реплику мимо ушей.

— У тебя, видать, дела идут что надо, — отпустил Неаполитанец комплимент новому другу.

Обоим порядком надоело сидеть в остерии и чесать языками. Кудрявый наконец поднялся и заявил:

— Слышь-ка, не пора ль по домам?

Неаполитанец кивнул, не открывая глаз, потом встал и, шатаясь, широченными шагами двинулся к выходу. Снаружи стояла темень. Народ уже поужинал, многие вышли подышать свежим воздухом. Какие-то парни носились на мотоциклах по площади, обгоняя полупустой трамвай. Пока Кудрявый расплачивался. Неаполитанец совершенно осознанно совершил целый ряд сложнейших операций: пустил газы, высморкался при помощи пальцев, помочился, затем оба направились под навес ждать трамвая, так как Неаполитанцу еще надо было добраться до Рима.

— Ты где живешь? — поинтересовался Кудрявый.

Неаполитанец хитро улыбнулся, но промолчал.

— Не хочешь, не говори! — надулся Кудрявый.

Неаполитанец сжал его руку в горячих, пухлых ладонях.

— Ты мне друг, — начал он с прежней торжественностью и еще несколько минут клялся и божился в вечной дружбе.

Кудрявому эта дружба нужна была как рыбке зонтик: он так устал, что ноги не держали, да и поесть бы чего-нибудь не грех. Положение Неаполитанца в двух словах было таково: он всего несколько дней, как прибыл с компанией таких же бродяг в Рим на поиски счастья, потому, собственно, и согласился учить Кудрявого за полтыщи. Кабы не нужда, стал бы он его просвещать! На карточной игре они миллионы смогут зашибать, да-да, миллионы! А покуда приходится ночевать в пещере на берегу Тибра. Кудрявый тотчас смекнул, что к чему, почуял, так сказать, перспективу и наострил уши.

— Так вам, стало быть, помощник требуется? Чтобы места показать?

Неаполитанец порывисто обнял Кудрявого и тут же приложил палец к губам: дескать, молчок, мы друг друга поняли. Этот жест он повторил трижды — так он ему понравился, — а после схватил Кудрявого за руку и вновь заверил его в своих дружеских чувствах, причем дошел до таких философских обобщений, что Кудрявый, у которого в голове уже созрел вполне конкретный план, с трудом поспевал за его мыслью.

— Ну да, ну да, — твердил он, как попугай.

Прошел один трамвай, другой, третий. В конце концов Неаполитанец с пятисотенной в кармане простился с Кудрявым, условясь на другой день встретиться (место встречи он повторил трижды) у Понте-Субличио.

Наконец-то Кудрявый нашел себе занятие — не то что Марчелло, который подрядился посуду мыть, или Херувим, малярничавший с братом. Он поставил себе целью подняться выше, сравнившись, к примеру, с Альваро или Рокко, которые после удачного сбыва крышек от канализационных люков решили воровать по-крупному. Кудрявый и рад был попасть в их компанию, но приходилось учитывать разницу в возрасте: им по четырнадцать стукнуло, не могут же они якшаться с таким сопляком! Правда, Рокко и Альваро тоже по большей части сидели с фигой в кармане, но ведь это совсем другой коленкор! Вот именно, совсем другой: Кудрявый лишний раз в этом удостоверился, съездив с ними в Остию.

Честно говоря, с картами поначалу дело не клеилось. Кудрявый и шайка неаполитанцев облюбовали себе несколько милых уголков — на Кампо-дей-Фьори, у Понте-Витторио, в Прати. Порой добирались даже до площади Испании или устраивались на другом, не менее бойком месте. Там, как правило, вокруг них собиралась целая толпа хорошо одетых, зажиточных людей. С виду Кудрявый был лишь на посылках у банкомета, но на деле его миссия была гораздо сложнее, тоньше и приносила чистоганом по тысяче в день. Но как-то вечером в субботу на виа Петтинари их засек полицейский патруль, направлявшийся к Понте-Систо. Кудрявый первым его заметил и без лишних слов бросился наутек по виа Цокколетте. Полицейский крикнул ему вслед:

— Стой, стрелять буду!

Кудрявый оглянулся, увидел, что у того и правда в руке пистолет, но подумал: не убьет же он меня, в самом-то деле! — и продолжил путь по виа Аренула, а потом затерялся в переулках, выходящих на пьядца Джулия. А неаполитанцам не повезло. Их привели в комиссариат и на следующий день волчий билет в зубы и до свиданья — отправили в родную деревню. В тот же вечер Кудрявый, не будь дурак, пробрался в пещеру у Понте-Субличио, (это была даже не пещера, а подвал полуразрушенного палаццо), отшвырнул ногой лохмотья и прочие пожитки троих несчастных и сдвинул с места камень, под которым они припрятали свои сбережения за неделю работы — целых пятьдесят тысяч.

Оттого-то в первое июньское воскресенье Кудрявый был так весел и богат.

Утро выдалось на славу: солнце заливало золотистым светом чистые, заново побеленные фасады многоэтажек, устремившихся в необъятную синеву. Золотистые лучи всюду — на Монте-ди-Сплендоре, на Казадио, на тротуарах, во внутренних двориках. И точно так же сверкают нарядно одетые люди на виа Донна Олимпия — прогуливаются, сидят перед домом, толпятся у газетного киоска.

Кудрявый тоже принарядился и вышел на улицу. Один носок подозрительно раздулся и оттопыривает штанину: туда Кудрявый спрятал свои сокровища. Среди шумной ватаги он тотчас углядел Рокко и Альваро. Немытые, нечесанные, в пыльных штанах, широченных у бедер и сужающихся к лодыжкам, наподобие тех галифе, какие бывают у военных на старых фотографиях, а из штанин, как цветы из горшка, торчат чумазные ноги; да рожи в придачу — точь — в-точь из уголовной картотеки.

Отбросив смущение (издержки возраста), Кудрявый подошел и понял, отчего вокруг поднялся такой шум. Оказывается, они пасовали друг другу мяч, отобранный у сопляка, который утирал в сторонке слезы. Альваро повернул к Кудрявому физиономию, ставшую от ухмылки еще более приплюснутой, и небрежно спросил:

— Никак судьба улыбнулась?

— А то!

Все его существо лучилось таким самодовольством, что Альваро взглянул на него с интересом.

— Какие планы на сегодня? — в свою очередь спросил его Кудрявый.

— Н-ну... — скучающим и одновременно загадочным тоном протянул Альваро.

— Может, в Остию прокатимся? Я нынче при деньгах.

— Да ну? — На плоском лице вздулись желваки. — Сотни две небось у матери выцыганил?

Теперь и Рокко стал заинтересованно прислушиваться к разговору.

— Ага, сотни две! — внутренне ликуя, выкрикнул Кудрявый, затем, чуть понизив голос и поднеся палец к губам, добавил: — А пятьдесят кусков не хочешь?.. Пятьдесят, — многозначительным шепотом повторил он.

Альваро, а за ним и Рокко ошалело плюхнулись на ступеньку, еще немного — и попадали бы прямо в пыль. Кудрявый выждал, когда они чуть придут в себя, двумя пальцами взял Альваро за ворот рубахи и шепнул:

— Айда за мной!

Они свернули за угол, подальше от любопытных глаз, и Кудрявый показал им пятьдесят купюр.

— Да он не брешет! — удивился Альваро.

— Во везуха! — прибавил Рокко.

— Ну так что, едем в Остию?

— Спрашиваешь! — сказал Рокко.

— Сперва надо помыться, переодеться, — забубнил Альваро.

— Ну ступайте, жду вас тут, — благодушно разрешил Кудрявый.

Парни переглянулись.

— Слышь, Кудрявый, — замялся Альваро, — а ты заплатишь за нас в Ости?

— Какой разговор! — проявил великодушие Кудрявый. — Ведь вы мне вернете потом?

— Вернем, не сомневайся! — заверил Рокко.

— Значит, через полчаса на этом самом месте, — подытожил Альваро.

Они юркнули во двор, но вместо того, чтоб идти домой или стрельнуть у кого-нибудь пятьсот лир на билет в кабинку, свернули направо в маленькую арку, выходившую на виа Одзанам, и вошли в табачную лавку с телефоном на самом видном месте. Альваро небрежно снял трубку, набрал номер, а Рокко бросил в щель монетку в пятнадцать лир и стал следить за разговором, боясь пропустить слово.

— Алло! — прогнусавил Альваро. — Попросите Надю, пожалуйста... Да, Надю, это ее знакомый.

На том конце, видно, пошли звать Надю. Альваро тем временем, переглянувшись с Рокко, прислонился к стене с облупившейся штукатуркой.

— Алло! — вежливо произнес он минуту спустя. — Надя, это ты? Послушай, есть дельце... Ты свободна сегодня?.. В Остию не хочешь смотаться?.. Ну да, в Остию... Что?.. Ну конечно, что я, трепач?.. Жди нас в Марекьяро, поняла?.. Да, в Марекьяро... Ну там, на дорожке... Да-да, где в прошлый раз. В три... нет, в три пятнадцать... Ага, пока!

Довольный собой, он повесил трубку и вместе с другом вышел из лавки.

Надя неподвижно стояла на песке и злилась на солнце, ветер и купальщиков, что слетелись на пляж, точно мухи на мед. Тысячи людей от Баттистини до Лидо, от Лидо до Марекьяро, от Марекьяро до Принчипе, от Принчипе до Ондины. Все купальни переполнены, на песке ступить негде: кто разлегся кверху брюхом, кто спину калит, и все больше старики. Хотя и молодежи полно: ребята в семейных трусах или узеньких плавках, ну прямо весь стыд наружу, девчонки в обтягивающих купальниках, с распущенными волосами. И никому на месте сидится, будто у всех нервный тик. Перекликаются, визжат, сквернословят, играют, шастают туда-сюда по кабинкам, зовут сторожа... Отпетая шпана Затиберья, напялив сомбреро, играет на гармониках и гитарах, щелкает кастаньетами. Самбы

сливаются с зажигательными румбами; репродуктор разносит их на весь пляж. И посреди всего этого — Надя в черном купальнике; чернущие, точно у дьяволицы, волосы выглядывают из-под пропотевших подмышек, а угольно-черные глаза горят ненавистью.

Ей около сорока, грудь и бедра упругие, мясистые, будто их накачали насосом. Она не в духе: ей надоело валандаться с этими чумовыми молокососами, тем более что в море она не купается, поскольку с утра помылась в тазу синьоры Аниты. Кудрявый, Альваро и Рокко минуты не помолчат, все извертелись. А Наде *хочется* поскорей выбраться отсюда.

— Ты нынче вроде не с той ноги встала? — невозмутимо спрашивает Альваро, заметив ее настроение.

От этих слов Надя свирепеет.

— Пошли отсюда! По-быстрому дело спроворим — и по домам! Чего мы тут застряли, интересно знать!

— Да куда торопиться-то? — лениво откликается Рокко.

Надя шипит, как змея, уголки губ обиженно опускаются, а глаза от ярости меняют цвет на землисто-серый, как у хронических сердечников.

— Или расхотел? — Она так и сверлит взглядом Альваро.

— Да нет, отчего ж? — пожимает плечами тот.

— Ну так пошли, чего ждать? — Надя яростно выплевывает слова из ярко накрашенных губ, напоминающих адово пламя.

Лицо Альваро расплывается в добродушной усмешке.

— Глянь-ка, нейметса ей нынче! Поостынь уже, не маленькая.

— Да пошел ты, сучонок! — шипит она и раздражается грязной бранью.

— Ну так и быть, уважим ее, — снисходит Рокко и подмигивает другу. — Да ты не бойсь, мы не подкачаем!

— И Кудрявый тоже, — добавляет Альваро. — Не гляди, что сопляк, по этой части он кому хошь сто очков вперед даст!

Кудрявый и ухом не ведет — лежит себе на песке, раскинув ноги, будто не о нем речь. На голове — тоже соломенная шляпа, из-под которой выбиваются тугие, непокорные завитки.

— Ладно, пошли, — решается Альваро и кивает на сарай-развалюху вдаль.

Надя прячет радость под маской брезгливого равнодушия, упирается руками в песок и, отключив зад, полегоньку приподнимает свои жирные телеса.

— Стойте! — командует Альваро. — Я первый!

В мгновение ока он скрылся за топчанами, зонтиками и грудой человеческих тел. Немного погодя следом потащилась и Надя, загребая босыми ногами раскаленный песок.

Кудрявый и Рокко остались на берегу ждать своей очереди. Рокко вытянулся, закинул руки за голову; выражение лица, как всегда, дурашливое. Кудрявому немного странно, что ни Рокко, ни Альваро за весь день и словом не обмолвились о том, чтобы искупаться: им только и дела, что пляться на девиц, стаями налетевших из Затиберья и Прати, из Маранеллы и Куартиччоло, Наконец он набрался храбрости и спросил:

— Рокко, ты плавать-то умеешь?

— Спрашиваешь! — нимало не смутясь, ответил тот. — Да я как рыба плаваю!

— Ну так пошли, окунемся, все равно пока делать нечего.

— Не, я не пойду. — Рокко сладко зевнул. — Сам ступай, коли охота.

— А я пойду, — в тон ему отозвался Кудрявый, сбросил сомбреро и потрусил к воде.

Но у берега он долго раздумывал — пробовал воду то одним мыском, то другим, затем вошел по колено, всякий раз отпрыгивая от набегавшей волны, будто она давала ему пинка под зад. В море было тесно от купающихся, меж людских голов ритмично покачивалась лодка. Наконец он набрал в легкие воздух и нырнул, как утка. Но не поплыл, а только лязгал зубами по шейку в воде и смотрел, как мальчишки забираются на корму лодки и ныряют оттуда вниз головой. Когда он вылез из воды, Рокко и Альваро уже освободились. Настала его очередь, но он медлил — нахлобучил шляпу и растянулся на песке. Тогда

Альваро пощелкал челюстями и обратился к нему:

— Эй, Кудрявый, пока не ушел, может, угостишь нас чем-нибудь?.. Да нет, если не хочешь, то... Но ведь у нас едва-едва денег наберется на кабинку да на проезд.

— Это пожалуйста.

Кудрявый, сбегал в кабинку, достал из носка одну бумажку, и выглянув, помахал ею приятелям.

Те встали и вместе с ним направились в бар пить кока-колу.

Солнце клонилось к закату, а народу на пляже только прибавилось. Море сверкало, точно клинок в людском муравейнике. Кабинки наполнились криками, под душ залезали сразу вдесятером, будто муравьи, облепившие скелет. Оркестр наяривал вовсю, ему вторил фонограф Марекьяро.

— Ну, Кудрявый, — сказал немного погодя Альваро, — давай.

Кудрявый тут же вскочил, и все засмеялись, видя его готовность — даже Надя, которая уселась за столик и слегка оттаяла.

— Только заплати сперва, — добродушно заметил Альваро, считая неуместным насмеяться над приятелем.

— Ой, позабыл совсем, — смешался Кудрявый и хохотнул, хотя в душе ему было не до смеха.

Он расплатился и, подражая Альваро, первым пошел в сарай.

Воздух и песок понемногу остывали, зато старая хибара накалилась, как жаровня. От одежды воняло потом, особенно от носков, но к нему примешивался приятный запах соли и бриллиантина. Кудрявый уже успел возбудиться, когда в дверь поскреблась Надя. Сперва протиснула внутрь плечи, потом втянула мощный, на зависть всему Риму, зад. Кудрявый стоял в своем дурацком сомбреро и пялился на нее. Она расстегнула лифчик, стянула трусики с потного тела. Кудрявый, видя это, тоже выскользнул из плавок.

— Ну, пошевеливайся! — вполголоса приказала Надя.

И пока они занимались своим делом, женщина крепко-накрепко сжала грудями его голову, одной рукой сняла носок, висевший на гвозде, вытащила пачку денег и незаметно опустила к себе в сумку.

Кудрявый живет в помещении начальной школы Джорджо Франчески. Если идти от Понте-Бьянко, справа от дороги поднимается откос, на котором теснятся дома Монтверде-Веккьо, а слева в небольшой долине расположился Железобетон, и через него как раз можно выйти на виа Донна Олимпия (еще ее называют Граттачели). Первый дом от угла и есть начальная школа. На обшарпанном асфальте стоит еще более обшарпанное здание с белыми квадратными колоннами и башенками по углам. Кого только не перебывало в этой школе за последние годы: и немцы, и канадцы, и эвакуированные, и выселенные. В числе последних семья Кудрявого.

Семья Марчелло тоже на Граттачели живет, только чуть подальше, в одном из высоченных зданий, окна которых выходят на улицу и во двор, на север и на юг, под палящее солнце и на теневую сторону. Из множества окон одни закрыты, другие распахнуты настезь, одни пусты, другие увешаны сохнувшим бельем; одни безмолвствуют, другие звенят женской руганью и детским плачем. А вокруг зеленеют луга в окружении холмов, и туда сбегаются играть полуголые, слюнявые дети.

В воскресенье от этих сопляков спасу нет. Ребята постарше ездят в Рим развлекаться, а разживутся деньжатами, так можно и в Остию сгонять по примеру Кудрявого, — живут же некоторые! А бедняга Марчелло без гроша за душой подыхай со скуки на Донна Олимпия! Слоняйся, засунув руки в карманы, по дворам Граттачели, от нечего делать учи восьмилеток играть в ландскнехт. Впрочем, у мелюзги терпения нет на серьезные игры: сорвались, побежали играть в индейцев на Монте-ди-Сплендоре. И остался Марчелло один-одинешенек под жгучим солнцем. Подумав, он пересек улицу, с маху перепрыгнул четыре выщербленные ступеньки и повернул к правой школьной лестнице. Семья Кудрявого расположилась не в классных комнатах — все классные комнаты до них расхватили, — а в

коридоре, который теперь разделили перегородками на клетушки, оставив для прохода лишь узкое пространство вдоль окон, выходящих во внутренний двор. По этому двору и бежал сейчас Марчелло. В так называемых комнатах теснились неубранные койки и лежанки — до уборки ли с таким количеством детей, ведь у женщин только после обеда и выдается минутка-другая посудачить!.. Кругом расшатанные столы, ободранные стулья, печки-буржуйки, ящики, швейные машинки, развешанное на веревках детское белье. В этот час в школе почти совсем безлюдно: ребятишки разбежались кто куда, старики сидят в остерии, в погребках Гратгачели, разве что старух застанешь дома.

— Синьора Аделе? — крикнул Марчелло, пробираясь вдоль окон. — А, синьора Аделе?

— Чего тебе? — отозвался сердитый женский голос из-за перегородки.

Марчелло просунул голову в дверь.

— Синьора Аделе, сын ваш не вернулся?

— Нет! — раздраженно буркнула синьора Аделе, поскольку Марчелло уже в третий раз спрашивал про ее сына.

Вся взмокшая от духоты, она сидела, едва поместив на ветхом стуле свой объемистый зад, и причесывалась перед зеркальцем, прислоненным к швейной машинке. Пережженные перманентом кудри спускались ей на лоб, и она яростно их чесала: так безбожно драть волосы могут себе позволить только шестнадцатилетние девчонки. Через полчаса она договорилась встретиться с подругами в пиццерии.

— Ну я пошел, синьора Аделе, — объявил Марчелло тоном желанного гостя. — Передайте вашему сыну, когда вернется, что я тут.

— Как же, вернется он! — проворчала синьора Аделе. — Ищи-свищи!

Марчелло сбежал по ступенькам и снова очутился на пустынной улице. Чуть не плача от злости, начал футболить ногой камешки. Чтоб его черти разобрали, прохвоста этого! — думал он. Запропастился куда-то и ни слова не сказал! Разве так делают? Разве так поступают с друзьями?.. Вот появись только, сукин сын! Он присел на ступеньку в тени. На всей улице только стайка недоростков играет в ножички с той стороны школы, что ближе к Железобетону. Марчелло после недолгих колебаний засунул руки в карманы, подошел к ним, и стал заглядывать через головы. Мелюзга спокойно продолжала свое занятие, как будто его и не замечала. Немного погодя, один поднял голову и обратил взгляд к Монте-ди-Сплендоре. И тут же, просияв, крикнул:

— Гляньте-ка, Клоун щенков притащил!

Все мигом повскакали и со всех ног понеслись к Монте-ди-Сплендоре. Марчелло, не теряя достоинства, двинулся следом. Он поднялся на вершину позже других, те уже уселись, выбрав местечко потенистей на склоне холма, откуда, если смотреть направо, видно пол-Рима, до самого Сан-Паоло.

Клоун дал ребятишкам подержать щенков, но бдительно следил за каждым. Сорванцы вели себя смиренно — не гомонили, только смеялись, да и то негромко, если кутенок откальвал какое-нибудь смешное коленце. Время от времени Клоун брал одного из щенят за шкирку, вертел так и эдак, заглядывал в крохотную пасть, потом бросал на колени какому-нибудь мальчишке. Щенок встряхивался, скулил, начинал семенить кривыми лапками по голым коленкам. Или же вырывался — и бежать вниз по склону.

— Куда, куда, сучонок?! — смеясь, приговаривали ребята.

Кто-то вставал и вприпрыжку, точь-в-точь как щенок, бросался его ловить. Забавлялся, играл с ним, то прячась, то внезапно выскакивая, потом наконец хватал щенка и ласково, неуклюже прижимал к груди, стыдясь своей нежности.

Марчелло, подойдя к ним, напустил на себя высокомерие взрослого, но и он не мог скрыть интереса и симпатии к собачьему семейству.

— Чьи щенки?

— Мои, — буркнул Клоун.

— А тебе кто их дал?

— Косой. — Клоун деловито поднял щенка, почесал ему брюшко. — Видите — сучка. Ребята загоготали. Сучка вся сжалась и запищала, тонко, как комарик.

— Ну все, — отрезал Клоун, забрал всех щенков и подсунул под брюхо матери.

Кругленькие, пухлые, точно поросята, малыши тут же прилипли к соскам, а ребята столпились вокруг и смеясь подзадоривали их.

— Мне одного дашь? — с притворным безразличием спросил Марчелло.

Клоун, занятый процессом кормления, недовольно покосился на него.

— Поглядим. — И тут же добавил: — Пять сотен есть?

— Спятил? — Марчелло постучал пальцем по лбу. — В зоосаде задаром щенка овчарки дают.

— Вот и ступай туда. — Клоун снова сосредоточился на своих питомцах. — Так уж и овчарки!

Остальные наострили уши, а Марчелло не растерялся, будто ждал этого вопроса.

— Что я, врать буду? Поди спроси на виа Обердан у сапожникова сына, он тебе скажет.

— А мне все одно. Собака лает — ветер носит!

Два щенка тем временем начали рычать друг на друга, как настоящие хищники, один грыз другого за морду. Ребята, наблюдая за ними, катались со смеху по траве.

— Давай за сотню, — предложил Марчелло.

Клоун ответил не сразу, но было видно, что цена его устраивает.

— Ну что, по рукам? — настаивал Марчелло.

— Так и быть, — уступил наконец Клоун.

— Беру вот этого. — Марчелло указал пальцем на толстого, черного, самого нахального щенка, который все отпихивал других от сосков матери — видно, хотел, чтобы молоко ему одному досталось.

Ребята глядели на Марчелло с завистью и подталкивали черного щенка, чтоб еще покусался. Марчелло вытащил из кошелька одну из двух сотен, имевшихся у него в наличности.

— На, держи.

Клоун протянул руку, и сотня исчезла в его кармане.

— Обожди меня тут, я щас, — сказал Марчелло и бегом спустился к начальной школе. — Синьора Аделе?! — закричал он снова, врываясь в коридор. — А, синьора Аделе?

— Ну? — рывкнула женщина. Она уже закончила прихорашиваться и напялила праздничное платье, обтянувшее ее, как колбасу. — Опять ты здесь, черт бы тебя побрал! — Но тут же сменила гнев на милость. — Я б на твоём месте знаешь куда послала этого паршивца? Чего он тебе так зандобился?

— Мы в кино сговорились вместе идти, — нашелся Марчелло.

— В кино-о? — Синьора Аделе недоверчиво приложила руку к груди и наклонила голову отчего подбородок ее совсем исчез в складках жира. — Да этот сукин сын до ночи не вернется, голову даю на отсечение. Это ж такой прохвост, весь в отца.

— Ну ладно, я, может, еще загляну, — сказал Марчелло, радуясь своему приобретению (теперь у него щенок получше, чем у Херувима). — До свиданьица, синьора Аделе!

Синьора в перчатках и сером платье, готовом треснуть по всем швам, с туго закрученными кудельками, обрамляющими лоб, вернулась в комнату попудрить нос и взять сумочку. А Марчелло слетел вниз по оббитым, почерневшим ступенькам, меж стен, из которых торчали покореженные трубы, и выбежал на улицу. Но не успел сделать и нескольких шагов, как сзади послышался оглушительный треск и будто кто — то ударил его кулаком промеж лопаток. “Ах, сучьи дети!” — подумал Марчелло, падая ничком. Барабанные перепонки едва не лопались, и глаза вмиг запорошило белой пылью.

У Кудрявого осталась кое-какая мелочь, чтобы купить три сигареты и билет на трамвай. Один, словно побитый пес, он дотащился пешком до трамвайного кольца, где подождал тринадцатого. Трамвай полупустой, хотя на улице совсем светло, и жара стоит, как в полдень, а уж почти шесть вечера. Кудрявый уселся в хвосте вагона, высунулся в окошко,

чтобы побыть наедине со своими невеселыми мыслями. Ветерок вдоль набережной и бульвара ерошил вихры на лбу и за ушами, хлопал выбившейся из штанов рубахой. Невидящим взглядом смотрел он на проплывавшие мимо фасады; воспаленное лицо обдувал ветер, в глазах стояли слезы. Воровато озираясь, он сошел у Понте-Бьянко и застыл на месте от неожиданности. Всегда пустынный бульвар Куаттро-Венти и улочка, ведущая вверх к Железобетону и Граттачели, где ходили только местные, да и те мозолей на пятках не набивали, теперь были забиты народом.

— Чего это? — спросил Кудрявый у прохожего.

— Шут его знает, — ответил тот и огляделся, сам ничего не понимая.

Кудрявый протиснулся вперед. Толпа спустилась было по откосу на площадку, но сразу повернула обратно. Со стороны дороги, что опоясывает Яникул, откуда-то от вокзала, доносился вой сирен. Кудрявый покрутил головой и снова стал пробиваться в волнуемом людском море. Он подоспел к Понте-Бьянко как раз вовремя, чтобы увидеть пожарные машины и скорую помощь, что мчались на всех парах к Монтеверде-Нуово. Мало-помалу рев стих среди недостроенных домов.

Кудрявый опять пробрался на площадку и увидел там Херувима на велосипеде. Вдвоем они стали прокладывать себе путь в толпе.

— Чего там стряслось? — сгорая от любопытства, спросил Кудрявый у другого прохожего.

— Небось пожар на Железобетоне, — пожал плечами тот.

Но на следующей площадке путь им преградили полицейские. Сколько ни толковали им ребята, что живут на Донна Олимпия, те и слушать не стали: дескать, у них приказ не пропускать ни единого человека. Кудрявый с Херувимом попробовали спуститься по откосу со стороны бульвара и обогнуть площадку, но и там наткнулись на полицейское оцепление. Ничего не оставалось, как идти в обход через Монтеверде-Нуово. Ребята вернулись к Понте-Бьянко, где все еще толпился народ, вышли на окружную и покатали на велосипеде, прыгивая, когда спуск становился чересчур крутым. Чтобы попасть на виа Донна Олимпия через Монтеверде-Нуово, надо отмахать километра два да еще с полкилометра по лугам, мимостроек и барачков. Первый отрезок пути они одолели быстро, затем продвижение поневоле замедлилось, поскольку у подножия Монте-ди-Сплендоре, перед Граттачели собралась огромная толпа. Слышались крики, вопли, впрочем, не слишком отчетливые в таком скоплении народа. Кудрявый и Херувим слезли с велосипеда и, ни слова не говоря, устремились в людскую гущу.

— Чего там? Что стряслось-то? — спрашивал Кудрявый у всех знакомых.

Но все только растерянно смотрели на него и не отвечали. Тяжело дыша, они все протискивались вперед, как вдруг кто-то схватил за рукав Херувима и крикнул:

— Ты куда, полоумный? Или не слышал — начальная школа рухнула!

В этот миг со стороны Монтеверде-Нуово примчались новые пожарные машины. Народ расступился. Когда сирены смолкли, стали слышны разговоры в толпе. На правом крыле школы, там, где была башенка, теперь проглядывался ее дымящийся остов; улица вокруг была засыпана известкой и обломками. Колоннада в центре совсем скрылась из виду за развалинами. На месте происшествия уже работал пожарный кран, и десятка три людей орудовали лопатами в быстро спустившихся сумерках. Вокруг школы выставили полицейские заслоны, и толпа на расстоянии следила за работой пожарных. В доме напротив уже зажглись окна; в них стояли женщины, кричали и плакали.

Марчелло привезли в больницу на скорой помощи. Он был весь в известке, словно обваленная в муке рыба. У него нашли два сломанных ребра и поместили в палату, выходящую окнами в садик, где грелись на солнышке выздоравливающие. Соседями его оказались болтливый старый печеночник, что без устали ворчал на монахинь, и человек средних лет, по счастью молчаливый, но этого дня два спустя без всяких объяснений перевели умирать в отдельную палату в другом конце коридора. Вместо умирающего на следующее же утро привезли другого старика, который стонал и жаловался день и ночь, что

донельзя раздражало соседа справа, и тот материл его почем зря. Так что скучать Марчелло не приходилось. Дни протекали в основном в ожидании приема пищи — не потому, что он был так уж голоден, а просто не мог отделаться от привычки вечно быть голодным. Лицо его светлело всякий раз, как он слышал в конце коридора грохот тележки с пищевыми бидонами. Он моментально поворачивал туда голову и, принявшись, безошибочно определял, что нынче будет на обед, чтобы потом, едва плеснут поварешку горячей бурды в железную миску больного с первой койки, утвердиться в своих догадках. Вся палата начинала сосредоточенно есть, отчего в белых металлических тумбочках мерно позвякивали пузырьки с лекарствами. Челюсти работали, глаза разгорались, хотя вслух больные считали своим долгом выразить недовольство пищей, привередничали и поглощали положенную им порцию с видом истинного мученичества и смирения. Марчелло, разумеется, от них не отставал, и главной темой бесед с навещавшими его родными было именно плохое качество больничного питания, как будто те не знали, чем он питается обычно. Почти все, что ему приносили из дома, оставалось несъеденным; Марчелло оправдывал это тем, что в больнице ему испортили аппетит, что монахини его невзлюбили и нарочно подсовывают самые дрянные куски. На деле же аппетита у него не было отчасти из-за того, что малейшее движение вызывало боль в сломанных ребрах, а отчасти потому что всякая еда вызывала у него отвращение, подай ему хоть блюда из лучшего ресторана, о которых он всю жизнь мечтал.

С течением дней боль в ребрах и отсутствие аппетита увеличивались. Марчелло стал бледным и тщедушным, как привидение, и еле-еле ворочался под одеялом, только глазами водил. Однако ни на боль, ни на слабость не жаловался.

Тем временем по приказу мэрии развалины вокруг школы кое-как разгребли, проход расчистили, похоронили мертвых и пристроили оставшихся без крова. Правда, пристроили относительно: десяток семей загнали в одну келью в монастыре Казалетто, остальных разбросали по пригородам — в Тораманчо или в Тибуртино, где полным-полно бараков и казарм. Недели через две жизнь на Донна Олимпия вошла в привычное русло. Молодежь ездила кутить в Рим, старики иной раз позволяли себе уговорить литр вина в местной остерии, армия шпаны вновь оккупировала дворы и пустыри.

Как-то в воскресный день отец и мать Марчелло со всем выводком отправились в больницу Сан-Камилло. Шли пешком: идти-то всего ничего, вверх до Монтеверде-Нуово, потом по кольцу вокруг Яникула и на виа Одзанам — потихоньку, по солнышку. Муж, жена, старшие дети шагали молча, свесив головы, а малышня прыгала и галдела. Гуськом они миновали подножие Монте-ди-Сплендоре, где на небольшом загаженном пустыре местные ребятишки собрались играть в мяч. Среди них были и Херувим с Оберданом. Они расселись на траве, рискуя зазеленить штаны, и свысока поглядывали на остальных. Увидев проходящее семейство, Херувим толкнул Обердана в бок и во внезапном приливе чувств воскликнул:

— Слышь, чего бы и нам не проведать Марчелло?

— А пошли! Делать-то все равно не хрен, — с готовностью откликнулся Обердан, вскочил и состроил мину, присущую доброму христианину.

Пробираясь между куч мусора, они покинули пустырь и сразу же столкнулись с ватагой, спустившейся с Монте-ди-Сплендоре.

— Куда намылились? Айда с нами! — пригласили их те.

Соблазн был велик. Но Херувим удержался и серьезно ответил:

— Мы в больницу — Марчелло навестить.

— Это какого Марчелло? — спросил Волчонок.

— Портнихина сына, — пояснил его приятель.

— Иль не знаешь, он скоро Богу душу отдаст? — сказал Херувим.

— Как это? — удивился тот. — Ведь он ребро сломал, от сломанного ребра не помирают.

— А вот и помирают, — со знанием дела заявил Херувим. — Мне сестра его сказала,

что ему одно ребро в печень вошло иль в селезенку, я уж не помню толком.

— Ну пошли, Херувим, — поторопил его Обердан, — а то отстанем.

— Ну бывайте, — кивнул им Волчонок, и ребята гурьбой двинулись к Донна Олимпия.

Херувим и Обердан бегом нагнали семью Марчелло, которая уже свернула на тропку, выходящую через луг прямо к площади Монтеверде-Нуово, и молча последовали за ней по безлюдным в этот воскресный полдень улицам до самых ворот больницы.

Марчелло очень им обрадовался.

— Не хотели нас пускать! — с порога объявил Херувим, все еще злясь на привратников.

Больной не преминул высказаться по этому поводу:

— Чего ты? здесь все носы задирают! А хуже всех монашки, ну чистые ведьмы!

Ему трудно было говорить — от усилия он стал блее простыни, но его это не останавливало.

— Вы Клоуна часом не встречали? — любопытствовал он, сверля Херувима и Обердана лихорадочно блестящими глазами.

— Да где мы его встретим? — хмыкнул Херувим, ничего не знавший про щенка.

— А вы разыщите! — настаивал Марчелло. — Да скажите, чтоб хорошенько за собакой моей смотрел. Тогда я, как выйду, еще сотню ему накину. Он знает.

— Ладно, — пообещал Херувим.

— Да помолчи ты ради Христа! — сказала мать, видя, что разговоры его утомляют.

Марчелло через силу улыбнулся.

— А не знаете, — продолжал он, не обращая внимания на отца и мать, стоящих в изножье кровати, — может, мне страховка положена?

— Какая такая страховка?

— Ну, страховка за поломанные ребра. Ты что, про страховку не слыхал?

При мысли о том, как он распорядится страховкой, Марчелло заметно повеселел, даже на щеках румянец выступил. Со своими он заранее договорился и теперь лукаво подмигнул им.

— Я себе велосипед куплю, еще получше твоего! — похвастался он перед Херувимом.

— Да иди ты! — У Херувима взлетели брови.

В этот момент старик справа завел свои жалобы, держась рукой за живот. Старик слева, который, как ни странно, до сих пор молчал, сразу словно очнулся, соорудил гримасу беззубым ртом и начал его передразнивать:

— Бе-бе-бе!

Марчелло скосил глаза на приятелей, как бы спрашивая: “Видали?” и прошептал:

— Вот так все время.

У него вдруг закружилась голова, и он сам тихонько застонал. Мать подошла к нему поближе, подоткнула простыню.

— Утомнишься ты наконец?

Сестрицы Марчелло, будто по молчаливому знаку, столпились вокруг него. Младшие, которым уже надоел этот визит, прекратили возню и тоже облепили больничную койку.

— А Кудрявый что подельывает? — спросил Марчелло, как только боль немного отпустила.

— Кто его знает? — сказал Херувим. — Недели две уж не показывается.

— И где он теперь живет? — расспрашивал Марчелло.

— В Тибуртино вроде, или в Пьетралате.

Марчелло задумался.

— А что он сказал, когда узнал, что мать умерла?

— Что тут скажешь? — пожал плечами Херувим. — Заплакал.

— Ах ты, Господи! — Марчелло вновь почувствовал колотье в боку и скривился от боли.

Мать перепугалась, схватила его за руку, стала вытирать платком пот, выступивший у

него на лбу и на шее.

Марчелло впал в забытие. Родители уже знали от врачей, что жить ему осталось дня два — три, не больше. Видя, как он побелел, отец сходил за сестрой, а мать опустилась на колени у кровати и, не выпуская руки Марчелло, стала тихонько плакать. Вернулся отец с монахиней; та пощупала лоб Марчелло и, уходя, тихо обронила:

— Терпеть надо.

Услышав это, мать вскинула голову, огляделась и зарыдала в голос:

— Сынок мой, сынок, бедный мой сыночек!

Марчелло открыл глаза, увидел, как мать плачет и кричит, посмотрел на остальных: кто утирал слезы, кто смотрел на него совсем другими глазами, не как обычно. Херувим и Обердан отошли в сторонку, уступив место родным.

— Вы чего это? — слабым голосом спросил Марчелло.

Мать зарыдала еще отчаяннее в уткнулась в подушку.

Марчелло еще раз обвел глазами палату.

— Вот оно что, — наконец проговорил он. — Так я все-таки умру?

Ему никто не ответил.

— Значит, так? — качнул он головой, пристально вглядываясь в лица окружающих. — Значит, не жить мне больше?

Херувим и Обердан испуганно притихли. Немного помолчав, Херувим набрался храбрости, подошел к кровати, тронул Марчелло за плечо.

— Ну пока, Марче, — сказал он. — Нам пора, а то мы там с друзьями уговорились.

— Пока, ребята, — тихо, но твердо ответил Марчелло. Потом подумал немного и добавил:

— Раз уж я больше не вернусь, передайте от меня привет всем на Донна Олимпия... Скажите, чтоб не грустили.

Херувим толкнул Обердана в плечо, и оба, не сказав больше ни слова, вышли из палаты, в которой стало совсем темно.

3. Ночь на Вилла-Боргезе

По виадуку Тибуртинского вокзала двое ребят толкали перед собой тележку, груженную креслами. Было утро, и дребезжащие автобусы на мосту — первый на Монте-Сакро, второй на Тибуртино, третий на Сеттекамини и четыреста девятый, что сворачивает сразу под мостом на Казаль-Бертоне, Аква-Булликанте и Порто-Фурба, — еле-еле тащились меж трехколесных тележек старьевщиков, велосипедов и красных повозок деревенских торговцев, преспокойно кативших от рынка по направлению к окраине. Даже выщербленные тротуары по обеим сторонам моста были забиты народом: рабочими, лоботрясами всех мастей, домохозяйками, сошедшими с трамвая в Портоначчо с полными сумками артишоков и свиных обрезков, которые они тащили в свои лачуги на виа Тибуртина или к многоэтажке, недавно выросшей среди развалин, строек, складов древесины и металлолома, огромных предприятий вроде “Фьорентини” и “Романа Компенсати”. И тут же, на середине моста, в море машин и пешеходов, двое ребят рывками толкали тележку, не обращая внимания на то, как судорожно она подпрыгивает на булыжнике. Затем, неторопливо оттащив ее с дороги, уселись на бортик. Один выудил из кармана окурки и закурил. Другой, прислонившись к подлокотнику кресла, обитого тканью в красную и белую полоску, ожидал, когда приятель даст ему затянуться. Ему было жарко, и он выпустил из брюк черную майку. Первый все курил, не глядя на него.

— Ну ты, — возмутился второй, — может, все — таки дашь курнуть?

— Держи, только не ной, — откликнулся тот, передавая ему чинарик.

В сутолоке их голоса были едва слышны. Свою лепту в общий гул внес и поезд, проезжавший под мостом и казавшийся игрушечным среди хитросплетения путей, теряющихся в подернутой солнцем пылью на фоне сотен домов нового района Номентана.

Докуривая бычок, парень в черной майке взгромоздился на кресло, широко расставил ноги и откинул кучерявую голову на спинку. В такой позе он блаженно втягивал дым из доставшихся ему двух сантиметров крепкой итальянской сигареты, бережно держа ее между пальцев. А вокруг кипело усиливающееся к полудню движение транспорта и пешеходов.

Первый тоже влез на тележку и устроился в другом кресле, прикрывая руками прореху в штанах.

— Черт, ща копыта откину, со вчерашнего утра не жрал! — пожаловался он.

Издали послышались два протяжных звонка. Развалившимся в креслах парням этот сигнал был хорошо знаком, и они поспешили оттащить свой транспорт с проезжей части. С площади Портоначчо среди машин и автобусов, рядами ползущих по мосту, лихо заворачивал трамвай, а за ним следом двое других пацанов тоже толкали перед собой тележку и при этом свистели и кричали что-то счастливым обладателям кресел. От их наполненной отбросами тележки воняло, как из сточной канавы. Да и сами парни были грязные, оборванные; потные физиономии на два пальца заросли пылью, зато волосы зализаны, будто сейчас от парикмахера. Один смуглый, стройный и красивый, несмотря на чумазую рожу. Угольно-черные глазища, нежный румянец на покрытых пушком щеках. Другой бледный, анемичный и весь в прыщах.

— Ну что, братишка, в говночисты нанялся? — спросил красавчика парень в черной майке, еще вальяжнее откинувшись на спинку кресла и не снимая прилипшего к губе окурка.

— Чтоб ты сдох, Кудрявый! — откликнулся тот.

Кудрявый (именно этот прохвост полулежал в кресле) хитровато прищурился и уткнул подбородок в ложбинку на шее. А Сырок (такое прозвище носил его спутник) подошел и сунул нос в тележку приятелей — нет ли чего интересного. Потом презрительно скривил губы и разразился неестественным смехом.

— Ах-ха-ха! — причитал он, держась за живот и усаживаясь на край тротуара.

Остальные молчали, ожидая, пока он отсмеется, но, по всему видно, тоже сдерживали смех.

— Спорим, за все это вы не выручите больше двадцати шести лир? — вынес наконец свой приговор Сырок.

Тот, кого Кудрявый назвал братишкой, поняв, что ребята над ним насмеются, стиснул зубы, дал Сырку под зад и снова взялся за ручки тележки. А прыщавый по прозвищу Задира побрел следом, недобро косясь на Сырка, сидящего в ногах у прохожих.

— Двадцать шесть лир! — пробурчал он. — Еще поглядим, у кого к вечеру больше монет в кармане будет.

— Ишь ты, ишь ты! — издевался Сырок.

Тогда Задира остановился, тряхнул выгоревшими волосами и процедил, будто пробуя на вес каждое слово:

— Да мы еще тебе, голодранцу, выпить поднесем.

— Уговор! — отозвался Кудрявый, молча наблюдавший за этой сценой с высоты своего трона.

Он ловко спрыгнул вниз и пристроился за тележкой двух старьевщиков, помогая Сырку толкать груз посреди оживленного движения. Красавчик и Задира стремительно спустились с другой стороны моста к Тибуртине, остановились перед остерией, обнесенной забором и примостившейся меж других развалюх под сенью недавно возведенной многоэтажки. Потом все четверо вошли и промочили горло литром белого вина; возня с тележками всех порядком утомила, к тому же Альдуччо (так звали красавчика) и Задира до этого еще пять часов рылись на свалке, что возле железнодорожного моста. С первых же глотков их развезло.

— Ну что, Кудрявый, айда толкнем кресла? — предложил Сырок, лежа на стойке и скрестив ноги; язык у него сильно заплетался. — Толкнем, а там хоть трава не расти.

— Где ж мы их будем толкать? — спросил Кудрявый.

— Да чтоб ты сдох! — сплюнул на пол Задира.

— На Порта-Портезе, где ж еще?

Кудрявый зевнул и посмотрел на Сырка осоловелыми глазами.

— Ну айда.

Сырок одним махом опрокинул стакан, поднялся и, шатаясь, пошел из остерии, гаркнув напоследок:

— Привет говночистам!

Кудрявый, допивая свое вино, закашлялся и всю майку облил, однако тут же последовал за Сырком.

От остерии до Порта-Портезе пешком километров пять, не меньше. Субботнее утро выдалось жарким: на августовском солнце их совсем разморило. Да еще пришлось сделать хороший крюк, чтобы обогнуть Сан-Лоренцо, а то не ровен час попадешься на глаза хозяину, который велел им доставить кресла в Казаль — Бертоне.

— А ну как не купит никто? — со свойственным ему пессимизмом предположил Сырок, от беспокойства прибавив шагу.

— Купят, купят! — заверил Кудрявый, доставая из кармана окурки.

— И сколько дадут, как думаешь? — небрежно спросил Сырок.

— Да уж никак не меньше тридцати кусков, — ответил Кудрявый и, сделав длинную затяжку, весело добавил: — Только б домой донести.

“Домой” — для него понятие относительное, ходить туда, не ходить — ему все одно. Пожрать так и так не дадут, а поспать можно и на скамейке в городском саду — даже удобнее, чем не дом? К тому же тетку свою ему лишний раз видеть поперек горла — даже Альдуччо, родной сын, ее на дух не переносит. А дядька с утра до вечера не просыхает, иной раз по пьяному делу такого шороху всем задаст — только держись. Да и потом, как жить на две семьи — в одной четверо детей, в другой шестеро? Как хочешь, так и ютись в двух комнатухах с удобствами во дворе! За год с лишним, когда после несчастья в школе он переехал жить к родственникам, Кудрявый нахлебался такой жизни по горло.

Они продали кресла старьевщику Антонио, тому самому, которому четыре года назад Кудрявый вместе с Марчелло и Херувимом загнали крышку от водопроводного люка. Теперь они выручили пятнадцать тысяч и решили на эти деньги приодеться. Робея и глядя в землю, пошли на Кампо-дей-Фьори, где за тыщу-полторы можно купить брюки-дудочки, а за две или даже меньше — очень приличный пуловер. Еще каждый справил себе мокасины, черно-белые, с узкими носами, а Сырок приобрел солнечные очки, о которых давно мечтал. Потом хромая, поскольку во время марш-броска от Портоначчо натерли ноги, они продолжили путь, решив для начала найти место, где можно было спрятать старые шмотки. Но легко сказать “найти место” — а как его найдешь в таком районе? Наконец они бросили узел в подсобке маленького бара на мосту Гарибальди, а затем, с напускным равнодушием проходя мимо стойки под подозрительным взглядом бармена, подумали про себя: уцелеет — хорошо, а сопрут — наплевать.

У “Сильвио”, на Корсо, они съели по бутерброду и пиццу на двоих. Время позднее, пора подумать о планах на вечер, черт его дери! С их деньжищами только выбирай: “Метрополитен” или “Европа”, “Барберини” или “Капраникетта”, “Адриано” или “Систина”. Ну что ж, кутить так кутить! Настроение было приподнятое, веселое, им и в голову не приходило, что радости жизни преходящи, а фортуна переменчива... Они купили себе “Паэзе сера”, чтобы посмотреть, что идет в кино и, повздорив меж собой, разодрали ее на части, потому что каждому хотелось читать первому. Наконец сошлись на “Систине”.

— Люблю развлечения! — весело приговаривал Сырок, выходя из кино четыре часа спустя, после того как они дважды посмотрели картину.

Он нацепил на нос темные очки и расхлябанной походкой шел по тротуару, нарочно задевая прохожих.

— Грымза! — кричал он какой-нибудь синьоре, которая, ввдя, что он и не думает уступать ей дорогу, смотрела на него с опаской и отвращением.

И не дай бог той синьоре обернуться: тут уж ей вслед неслось с кромки тротуара:

— Страхолюдина! Тупица! Сволочь старая!

Есть на свете люди, которых шпана просто не выносит, ну не терпит — и все.

— Полюбуйся на этих! — надрылся Сырок при виде высокой, красивой, пышнобедрой дамы под ручку с каким-нибудь недоноском.

Провожая взглядом эту парочку, Сырок и Кудрявый строили похабные рожи, начинали ходить на полусогнутых, плевались. Метр с кепкой грозно глядел на них вполборота, но, если шпана разоидется, ее уже не остановишь.

— Вот это богатырь! — вопил Сырок.

Одна бесстрашная мадам решительно двинулась прямо на них, тогда сорванцы, гогоча, припустили к Вилла Боргезе, поскольку из всех парков со скамейками, где можно устроиться на ночлег, этот самый классный. Войдя туда со стороны Порта-Пинчана, они зашагали по аллее, огибающей площадку для верховой езды, где до поздней ночи полно людей и машин. В глубине, за Дроковой ротондой, начинается другая аллея, доходящая до парпетов Пинция и Казина-Валадье. Ее окаймляют два ряда тонких олеандров, отделяя от тротуара и создавая над скамейками у ограды густую тень, а дальше уступом поднимается открытый манеж. На скамейках расселись люди — отдыхают, воздухом дышат.

— Я бы тоже передохнул, — беззаботно заметил Кудрявый.

Они развалились на сухой траве за кустами и принялись распевать от полноты чувств. Немного погодя вернулись на аллею и увидели, что почти все скамейки уже опустели и народу в парке заметно поубавилось. Вот когда начинается настоящая жизнь. Старики разгуливают без пиджаков, парни щеголяют яркими американскими куртками. На скамейках сидят, по — женски сжав колени или закинув ногу на ногу, слегка подавшись вперед, и курят нервными отрывистыми затяжками, держа сигарету пятью скрюченными пальцами.

Под сенью олеандров почтенный синьор беседовал с молодым негром в голубом джемпере под горло (такой можно купить на Порта-Портезе за полтыщи). Меж деревьев под фонарями проносились какие-то тени.

— Вот и у моей подружки юбочка — всю задницу видать, — похвастался Сырок, устремив пристальный взгляд на противоположную сторону аллеи, где под фонарем сидела женщина в юбке выше колен кроваво-красного цвета.

— А это еще кто? — насторожился Кудрявый.

— Эй, сукин сын! — в ту же секунду окликнул Сырка парень с черной, как чугунная сковорода, кожей и еще более черными завитками волос, падавших ему на лоб; широко расставив ноги, он сидел на скамье в компании двух приятелей.

— Помощь нужна? — с готовностью откликнулся Сырок, придвигаясь к ним поближе.

— Подотрись своей помощью! — насмешливо процедил Негр и всем корпусом повернулся вслед верзилам, которые успели где-то подцепить двух звездочек Вилла-Боргезе и теперь с благодушным видом шествовали мимо.

— Чтоб вы сдохли! — выругался в их адрес Кудрявый.

— Познакомьтесь — мой приятель, — церемонно представил его Сырок.

Кудрявый подошел, подал каждому руку. Тем временем верзилы с девицами, пройдя несколько метров, остановились и стали закуривать, громко переговариваясь. Негр, скосив глаза, неотрывно наблюдал за ними. Один из его дружков, Калабриец, что-то усердно шептал другому, головастому крепышу со шкодливым огоньком в глазах.

— Ну что, Башка, деньжатами-то разжился нынче вечером? — спросил Сырок, прощупывая почву.

— А ты думал? — Башка разинул в ухмылке здоровенную пасть и сполз по скамейке до полулежачего положения, так что дотянулся ногами до клумбы.

Калабриец, погруженный в свои мысли, не обращал внимания на двоих новеньких.

— А ну, покажь, — просипел Негр простуженным от вечного спанья на скамейках голосом.

Ему уже исполнилось двадцать, но черная прыщавая физиономия делала его похожим на пятнадцатилетнего подростка. Выбросив вперед руку, он похлопал по туго набитому карману приятеля.

— А пошел бы ты! — неожиданно остервенел Башка. — Вот это видел? — И выхватил из штанов пистолет.

— Псих! — сказал Негр.

Башка засмеялся, польщенный, и спрятал оружие.

— Надо же! — восхитился Сырок.

— Это что, “беретта”? — спросил, придвигаясь, Кудрявый, но ответа не удостоился.

Калабриец, видимо, решил всерьез прощупать почву:

— А перо?

— Откуда у меня перо, дубина?

— Зато у Дятла есть, — сообщил Негр.

— Ты видал, как он набрался, поди сучки его уже обчистили, — предположил Калабриец.

— А ты проверь, — посоветовал Башка.

— Пошли вместе! — подзадорил его Калабриец.

Башка со смехом поднялся со скамьи и вразвалочку двинулся по аллее вслед за Калабрийцем; кудрявый и Сырок унявшись за ними. А Негр вызывающе разлегся на скамье кверху брюхом и вытянул сперва одну ногу, потом вторую.

Хрен с ними, мне и тут хорошо.

На аллее, ведущей к Порта-Пинчана, еще было полно женщин, парней в свободных блузах, иностранцев, которые гуляли под неумолчный грохот джаза. У выхода из парка, за площадкой для верховой езды, аллея спускалась до погруженного в тишину Муро-Торто. Из мрака вынырнули трое пьяных солдат, потом какой — то парень на мотоцикле, и снова исчезли под низко нависшими ветвями деревьев. Справа тянулась ограда, а чуть ниже, в кромешной тьме пустыря, подсвеченного лунным лучом, виднелся еще один забор; им была обнесена посыпанная песком аллея, где днем ребяташки играли в мяч, а служанки выгуливали хозяйских детей. По ночам же возле провонявшего конской мочой забора собирались боевые отряды шпаны. Они возникали из тени сгрудившихся на краю пустыря платанов или из густого кустарника вокруг манежа. Сюда заходили матросы из Таранто и Салерно и черные, сухопарые шоферюги из Чиспады со свисающей до колен мотней, но в основном это было пристанище голодных оборванцев из Прати и Фламинио.

Едва Кудрявый и Сырок с двумя завсегдастыми Вилла-Боргезе достигли намеченной цели, тишина, царившая меж спуском и подъемом, как будто сгустилась.

— Дятел! — шепотом объявил Калабриец.

— Где? — завертелся Башка.

— Ты что, оглох?

— А ну тебя, дурак! — Башка уселся на ограду, решив ждать до победного.

На песчаной дорожке и впрямь слышался скандальный голос, долетавший из густой кроны каштанов, а может, из темных, затянутых металлической сеткой углов манежа. По мере приближения он становился все громче.

— Суки! Суки! — Голос умолк на мгновение, потом опять: — Суки!

Кричавший все больше распался. Насколько можно было судить, не видя его, он то и дело останавливался, круто поворачивался к манежу и в такой позе вопил. Или же шел медленно, спотыкаясь и свернув голову назад. А возможно, приложил ко рту ладони и орал так громко, что можно было услышать хрипы в легких.

— Суки! Суки!

Вот он снова затих — не иначе, чтобы перевести дух или сплюнуть. Сторонний слушатель по тому, как он растягивал “у” в слове, наверняка подумал бы: парень просто дурачится. Но голос постепенно садился — стало быть, кричавший не просто глотку дерет, а не на шутку взбешен и брызжет слюной. Крики, должно быть, достигали и манежа, и даже аллеи, доходящей до “Казино-делле-Розе”. Помолчав, этот неведомый голос опять выводил одно и то же слово: видно, другие от ярости на ум не шли.

— Суки!

Вскоре у ограды замаячила раскачивающаяся, как под сильным ураганом, тень. Руки ни на секунду не оставались в покое: то вытаскивали рубаху из штанов, то снова заправляли, то хватались за ограду, то выковыривали жвачку из зубов, то поправляли падавшие на лоб волосы.

— Су-уки! — завопил он еще громче, обращаясь к кому-то, кто предосторожности ради либо от страха прятался в тени.

Внезапно крикун рухнул на землю, но тут же поднялся и зашагал своей дорогой. Сделав несколько шагов, остановился, пошарил за пазухой и выдал еще одну витиеватую очередь “сук”, жуя слова вместе с резинкой и выплевывая сгустки слюны.

— Эй, Дятел! — окликнул его Башка с высоты ограды. — У тебя никак белая горячка началась — сам с собой базаришь!

Дятел вскинул голову кверху, потом опять оглянулся в сторону пустыря, где притаились его безмолвные, как сфинкс, противники, и в очередной раз выкрикнул:

— Суки!

Потом пошел вдоль ограды к дорожке и наконец достиг аллеи, где его поджидала наша четверка. Растолкав ребят, Дятел уселся на планки частокола. Он жевал, некрасиво разевая рот, скрипя челюстями и пуская слюни.

— Ты чего это, а, Дятел? — спросил Калабриец; глаза его смеялись при виде этого жвачного животного.

— Да чтоб они сдохли! — взвился Дятел. (От крика и напряженной работы челюстей его мордочка вся пошла морщинами.) — Трахаться не хотят!

— Да ладно лапшу-то вешать! — усомнился Башка, а Калабриец чуть не лопнул со смеху.

Дятел поднялся, встряхнулся, и, оборотясь к пустырю, приложил ко рту ладони.

— Су-уки!

— Перо! — приступил к делу Калабриец.

Дятел глянул на него невидящим глазом.

— У меня что, серьга в носу? — опять воззвал он к невидимым проституткам. — Или я вам пять сотен не могу отмуслить? Су-уки! — Он выбросил обвиняющую длань по направлению к пустырю. — Ну, завтра вечером я вам покажу, вы меня еще узнаете!

— А чего ты им покажешь? — поинтересовался Башка.

— Чего покажу-у? — переспросил Дятел, не переставая жевать и шмыгать носом. — Хрен им покажу, вот чего! На, держи. — Внезапно смягчившись, он сунул что-то в ладонь Калабрийцу.

Калабриец взял перо и стал рассматривать его на свет.

— У кого стибрил? — спросил Кудрявый.

— Да там у одного, на окружной, — пожевал губами Дятел.

— То есть как? — удивился Башка. — Ты же говорил, у американца.

Дятел и ухом не повел.

— А на кой оно тебе? — не унимался Кудрявый.

— Ты что? — вскинулся Дятел. — Да его за полтыщи загнать можно!

— Ну прям! — не поверил Кудрявый.

— А ты бы сколько дал? — с вызовом приступил к нему Калабриец.

— Да нисколько. Смех один!

— Айда по стакану! — вдруг предложил Дятел и, словно проснувшись, вихрем слетел с ограды.

— У него денег полно, — заметил Калабриец.

— Скажешь тоже — полно! — потянул носом Дятел. — У меня всего три сотни.

Кудрявый и Сырок сидели на заборе и ждали развития событий.

— Пошли! — Дятел, пошатываясь, направился к Порту-Пинчана.

— А что, пошли, — повторил Башка и потащился следом.

Кудрявый и Сырок не тронулись с места.

— Идете, чумазые? — вполоборота спросил Башка.

Уже под арками Порта-Пинчана они встретили Негра в компании коротышки с одутловатой бандитской рожой и стеклянными глазами. Этот тип из Аква-Булликанте по прозвищу Плут был известен всей римской шпане.

— Так, — подытожил Башка, — двое из Тибуртино, один из Булликанте, двое из Примавалле, один без роду без племени и Дятел из Валле Д'Инферно... Объявляется бандитский сбор всех римских окраин!

Они отправились в пиццерию против вокзала Термини и на деньги Дятла взяли бутылку вина. Потом, окосев, по виа Венето вернулись на Вилла-Боргезе, по дороге не упуская случая прицепиться к расфранченным богачам. Парк почти опустел. Из "Казина-делле-Розе" еще доносились звуки скрипок.

Возле манежа Дятел, словно очнувшись, вдруг начал вопить во всю мощь натруженных легких:

— Су-уки!

Потом перелез через ограду, шмякнулся мордой в пыль и мгновенно заснул.

— Черт возьми, — изрек Кудрявый, — какие бабочки на виа Венето!

— Пошли, может, каких свистушек тут подцепим, — встрепенулся Сырок.

— Быстрый какой! — возразил Калабриец, — На них башли нужны.

— А у нас что, башлей нету?

При таком заявлении все сразу наострили уши.

— Тогда пошли, — подытожил Негр, отбрасывая со лба кудри и плотоядно ухмыляясь. — Чего ж мы ждем?

Под луной они пересекли поляну, дошли до манежа и огляделись, но проституток уже и след простыл.

— Небось замели всех, — с видом знатока предположил Калабриец.

— Ну и ладно. — Сырок выбросил вверх два пальца. — Без них обойдемся.

Плут из Аква-Булликанте шутливо шлепнул его по ягодицам.

— Как не обойтись, вон какая у тебя жопка!

— Кому жопка, а кому хренопка! — уточнил Сырок.

— Иль твоя хренопка до задницы достает?

— А то! — гордо приосанился Сырок. — Еще и до твоей достанет.

— Один — ноль, — изрек Негр тоном, каким произносят "аминь".

Они поднялись по склону с другой стороны поляны и вышли на аллею, где встретились прежде. Но там было еще слишкомлюдно, чтобы устраиваться на ночлег. Блуждая меж деревьев парка, добрались до Казина-Валадье, каждый облюбовал себе скамейку и разлегся на ней.

Ночь минула быстро: еще дозорные не начали ходить под Муро-Торто и весь Рим нежился в предугреннем сне, а солнце уже поливало деревья и лужайки, ограды, клумбы и статуи Вилла-Боргезе лучами слепящей белизны.

Кудрявый проснулся от странного холода в ногах. Малость поворочался на скамейке, готовый снова провалиться в дрему, но вдруг поднял голову поглядеть, что же там у него с копытами. Солнечный луч, косо падавший сквозь густую листву, освещал его дырявые носки.

— Я что, башмаки давеча снял? — вскочил Кудрявый. И тут же сам себе ответил: — Да нет, вроде не снимал. — Он тупо уставился на траву меж расставленных ступней. — Сырок, эй, Сырок, у меня обувь свистнули! — отчаянно вопил Кудрявый, трясая за плечо приятеля.

— Кто? — не открывая глаз, осведомился Сырок.

— Ботинки, говорю, сперли! И деньги тоже!

— Кудрявый лихорадочно шарил по карманам.

Полусонный Сырок тоже обследовал карманы — ни шиша!

— Да чтоб они сдохли все! — буйствовал Кудрявый.

Остальные проснулись и смотрели на них издали.

— У меня ни лиры не было, — сказал Плут, усаживаясь на скамье.

А Калабриец повернул к пострадавшим одутловатое со сна лицо и качал головой, словно хотел сказать: знаем, но молчок!

Кудрявый и Сырок удалились, даже не попрощавшись с новыми знакомыми, а те невозмутимо проводили их взглядами, придав заспанным лицам недоуменное и озабоченное выражение — попробуй-ка, обвини их в чем! На всей Вилла-Боргезе, залитой теплым утренним солнцем, не было ни души. Друзья спустились на заросший травой манеж, пересекли его. В глубине площадки еще лежал ничком Дятел в бело-голубых башмаках из кожаменителя, разлезшихся по швам и с одной дырявой подметкой.

Кудрявый потихоньку стащил их с Дятла и напялил на свои ножищи. Ботинки оказались тесноваты, но не до жиру. Таким образом, наполовину решив обувную проблему, они направились к Порта-Пинчана.

В тот день Кудрявый и Сырок пошли столоваться к монахам. А что делать, когда в брюхе подвело и за все утро, проведенное на пьядца Витторио им не удалось ни лиры срубить?

Скрипя зубами от голода, они забрались под железнодорожный мост, где на двери строеньица под номером двести десять красовалась надпись: “Трапезная” — то ли монастыря Святого Сердца, то ли Приснодевы — одно из двух. Сперва они робко сунулись туда, не решаясь войти в столь непрезентабельном виде — один Кудрявый обут, и тот почти что в опорки. Коридорчик за дверью вел в утрамбованный внутренний дворик, где такие же кающиеся грешники играли в баскетбол, и было видно, что делают они это лишь в угоду монахам. Кудрявый и Сырок переглянулись, проверяя, достаточно ли благочестивые у них лица, и едва не прослезились при виде такого смирения. Но вместо этого хмыкнули в унисон и с довольными, отнюдь не покаянными улыбками вошли.

Навстречу им вышел толстый, потный, неряшливо одетый монах; парни оробели, подумав про себя: ну и харя! Но монах громко спросил:

— Кушать хотите, ребятки?

Кудрявый отвернулся, чтобы не прыснуть, а Сырок, который наведывался сюда не впервые, жалобным голоском ответил:

— Хотим, святой отец.

На словах “святой отец” Кудрявый не утерпел и горлом издал странный клекот; пришлось притвориться, будто он завязывает шнурок на ворованных башмаках.

— Ну проходите. — Монах повел их во дворик к столу, где лежал журнал регистрации и блок купонов.

Поводя огромным животом под суганой, монах спросил их анкетные данные.

— Чего? — не понял Кудрявый, однако глазами выразил готовность исполнить все, что от него потребуют.

Когда они выяснили, что за хреновина “анкетные данные”, то, разумеется, назвали вымышленные и взамен получили от “святого отца” по купону.

Кудрявый, видя, как гладко все сошло, даже растрогался против обыкновения.

— А когда хавать дадут? — с горящими глазами спросил он.

— Скоро, — неопределенно отозвался Сырок.

Тем временем другие бедолаги продолжали играть в этот чертов баскетбол, хотя явно уже подустали.

— Ну что, айда и мы? — предложил Кудрявый, одержимый теплыми чувствами к монахам.

Они вышли в центр дворика, слегка повздорили с остальными, обутыми не в пример лучше их, и стали играть, совершенно не зная правил баскетбола, поскольку про такую игру слышали в первый раз. За полчаса на площадке Кудрявый только и осаживал себя, чтоб не послать всех куда подальше.

Затем хлопками в ладоши монахи созвали их к себе, проверили купоны, завели в большую комнату, где стояли столы со скамьями метров по десять длиной, и выдали

каждому по две черствые булочки и по две миски — одна с макаронами, другая с фасолью. Потом заставили продекламировать: “Во имя Отца и Сына и Святого Духа”, - и позволили приступить к трапезе.

Кудрявый и Сырок столовались у монахов дней десять кряду. Правда, только в обед: к вечеру монахи прикрывали свою лавочку, и друзьям приходилось довольствоваться одноразовой кормежкой. Но вечером они с грехом пополам устраивались: то перехватят лиру-другую на вокзале или на рынке пьядца Витторио, то стянут что-нибудь с прилавка. Наконец удача им все-таки улыбнулась, и они послали монахов к монахам. Однажды в сумерках на окружной они заметили синьору с большой сумкой. А перед этим видели сквозь витрину колбасной лавки, как она доставала туго набитый кошелек и как на выходе сунула его обратно в сумку, полную всякой снеди и потому плохо закрывающуюся. Как по заказу, у Кудрявого и Сырка нашлось на двоих тридцать лир. Они разделили их пополам и вскоре уже ехали на автобусе по окружной. Оба пристроились за синьорой. Та крепко держалась за поручень и злобно поглядывала на них. Кудрявый подошел к ней вплотную, так как именно он по плану должен был ее обчистить, а Сырок встал у него за спиной, прикрывая тылы. Правой рукой Кудрявый потихоньку выудил из сумки кошелек, за спиной просунул под левую руку и спрятал под мышкой. Затем, хоронясь за Сырком, стал протискиваться вперед в толпе. Они сошли на первой же остановке, углубились в парк на пьядца Витторио и поминай как звали! После недолгого обсуждения решили наведаться в Тибуртино, поглядеть, как там идут дела после их бегства с креслами обойщика.

В воздухе разливалась приятная вечерняя прохлада. В этот час рабочие возвращаются домой, в трамваях народу как сельдей в бочке, так что приходится долго ждать на остановке, пока сумеешь зацепиться на подножке. В Сан-Лоренцо, Верано и до самого Портоначчо стоит адский шум-гам.

Окончательно примирившись с жизнью, Кудрявый распевал во все горло:

...О как прекрасен Рим вечернею порою!

В голове у него теснились планы на будущее, а рука невольно ощупывала в кармане богатую добычу, источник всех наслаждений, всех радостей в этом поганом мире. Сырок, тоже счастливый до поросьячьего визга, не отставал от него ни на шаг. Они прибыли в Портоначчо, а там, засунув руки в карманы и весело насвистывая, стали ожидать под мостом автобус на Тибуртино. Один только что отошел, а *когда* подъехал следующий, на остановке собралось столько народу, что хоть на крыше езжай. Подождали третьего — та же картина. Подгоняемые свежим, но теплым ветерком, они дошли до Святого Петра. По небу плыли тучки, вдалеке громыхало, стал накрапывать дождь. Тем не менее Кудрявый и Сырок наплевали на автобус и пристроились к маршировавшей колонне берсальеров. Миновали вокзал, склады, депо, стройку, успевшие промокнуть лужайки — излюбленное место проституток, и вернулись на конечную остановку под мостом. На улицах зажигались качающиеся фонари. Автобус не заставил себя ждать, но толпа страждущих не убавилась.

— Как думаешь, сколько времени? — спросил Кудрявый.

— Часов восемь — начало девятого, — ответил Сырок.

Хотя, если прикинуть хорошенько, то и все десять.

— Поздно уже, — не унывая, заключил Кудрявый. — Надо ехать.

Они едва не сбросили на землю трех старух, поскандалили с почтальоном и, расталкивая народ локтями, наступая на мозоли, отвоевали себе место за кабиной водителя. Прислонились к ней и стали с интересом наблюдать за разыгрывающимися в автобусе сценками. Потом неожиданно встретили приятелей, и те очень им обрадовались.

— Ну, — сказал Сырок, снисходительно потирая руки, — как делишки?

— Сам не видишь? — огрызнулся один в промасленной спецовке. — Горбатимся с утра до ночи.

— Оно и видно, — усмехнулся Сырок.

— Вот-вот, — невесело подхватил второй. — Придем домой, пожрем, завалимся дрыхнуть, а с утра опять на каторгу.

— Ясное дело, — понимающе кивал Сырок.

— А ты как? — спросил белобрысый Эрнестино, заметив оживленный блеск в глазах Сырка.

Сырок задумчиво поглядел на него, потом замедленным жестом опустил руку в карман и вновь с плохо скрытой ухмылкой уставился на Эрнестино и на других разинь.

Наконец, потомив хорошенько приятелей, он вытащил кошелек и с нежностью извлек из одного отделения несколько сотенных бумажек. И вдруг — хрясь-хрясь! — хлестнул Эрнестино этой пачкой по щекам. После чего с сознанием выполненного долга убрал свои сокровища в карман.

Эрнестино ничуть не обиделся, напротив, почел за честь исполнить роль статиста в представлении Сырка.

— Подумаешь! — ухмыльнулся он. — Всего — то четыре сотни!

— Ага, а сколько мы еще припрятали! — сообщил Сырок, мечтательно складывая губы.

Кудрявый помалкивал и глядел по сторонам со светским высокомерием: он эту компанию Сырка, который родился и вырос в Тибуртино, знал плохо.

С Эрнестино и неким Франко по прозвищу Макаронина Сырок дружил с младенчества, когда Тибуртино и Пьетралата еще стояли среди полей, а новые участки и Форте только застраивались. Время от времени (им тогда еще восьми не было) они убегали вместе из дому и пропадали неделями, голодая или питаясь украденными у сельских торговцев луковицами, подгнившими персиками, шкварками, вытасканными из сумки какой-нибудь домохозяйки. Убегали просто так, за ради развлечения. В казармах берсальеров выпрашивали курево, ночевали прямо у подножия горы под навесом, где хранились арбузы.

Хорошее настроение и благодарность судьбе за лежавшие в кармане деньги настроили Сырка на романтический лад.

— Слушай, Эрнесто, — вкрадчиво проговорил он, — а помнишь тот раз на бахче?..

— Ну как же! — без особого энтузиазма отозвался Эрнестино: отсутствие денег не располагало к воспоминаниям.

— Эй, Кудрявый, слышь-ка, — Сырок потянул друга за рукав. — Ты помнишь, Эрнести, какой колотун был тогда ночью в Баньи-де — Тиволи, когда мы спали на арбузах вместо подушек?

Эрнестино засмеялся.

— Тот хозяин бахчи, — объяснил Сырок Кудрявому, — держал свинью в Баньи-де-Тиволи, в сарае, прямо среди поля... А раз мы хорошо его бахчу охраняли, так он, черт его дери, и к свинье нас решил приставить. А там у него еще и кролик был. Вот однажды вечером приходит к нам мать того бахчевода: “Ступайте, — говорит, — в Баньи-де-Тиволи, купите хлеба полкило”. Два километра туда и обратно — шутка ли! А уж темно было... Так вот, покуда мы ходили, эта бабка зарезала кролика и сожрала. А косточки в ямку закопала да насрала сверху, паразитка! Возвращаемся, значит, мы, идем кролика проведать, а кролика-то и нету! После приходит арбузник, самый главный. “Где, — спрашивает, — кролик?” Ну мы с Эрнестино и отвечаем: дескать, за хлебом ходили, а как вернулись, кролик-то и сгинул. “Ах вы, такие-сякие, надо было кому-нибудь одному пойти!” “Боялись, — говорим, — в темноте ходить, вот и пошли двое”. Тогда он вынимает из кармана полсотни и говорит: “Вы уволены, чтоб духу вашего тут больше не было, не то в тюрьму упрячу!” А нам хоть бы хны, — захлебываясь, продолжал Сырок. — Вернулись в Пьетралату и побились на кулаках с другими ребятами, чтоб взяли нас работать в цирк... Помнишь, Эрнесто?.. С тиграми, со львами! Но в тот раз Ласточка сбежала — это лошадь из Мареммы. Мы ее всю ночь искали, все поля обегали и нашли-таки! Купалась, сволочь, в Аньене!

Кудрявый слушал затаив дыхание, ему очень нравились байки Сырка и его старых друзей. Другие тоже кивали, поддакивали, смеялись. Инстинкты закоренелой шпаны расцветали у них в душах. Один парень — не из Тибуртино, а из Пьетралаты — черномазый,

с чернущей шевелюрой и такой верзила, что остальные едва доходили ему до подмышек, стоял, опершись на поручень, и слушал отстраненно, сосредоточенно, с мечтательным выражением лица. Его звали Америго. Кудрявый знал его только с виду.

Автобус, подпрыгивал на булыжнике, перетряхивая плотно сбитую массу добрых христиан; в салоне иголке негде упасть. А компания из Тибуртино веселилась вовсю.

— Глянь, какой лохмач к нам появился, — заметил Эрнестино, переводя разговор в другое русло и поглядывая на шевелюру Кудрявого.

— А ты что, не знаешь? — Сырок расплылся.

— Ведь он, чтоб эти кудри завить, негром заделался.

Пока остальные смеялись, Америго, не двигаясь с места, ткнул Сырка в бок и сказал тихим глуховатым голосом:

— Эй, ты, как уж звать-то тебя? Слышь, чего скажу!..

4. Шпана

Америго был пьян.

— Сойдем тут, в Форте, — сказал Сырок, почтительно слушавший его. — А это дружок мой, — добавил он, только бы что-нибудь сказать.

Америго тяжело поднял будто налитую свинцом руку и указал на Кудрявого. Ворот его куртки был поднят, лицо под грязными космами позеленело, взгляд карих глаз казался застывшим. Крепко, как завязтому собутыльнику, он пожал Кудрявому руку, но тут же позабыл о нем и повернулся к Сырку.

— Т-ты понял?

На вид он был парень тихий, но Сырок хорошо знал, что с ним шутить не надо: он видел, как однажды у “Фарфарелли” Америго одной рукой поднял шесть связанных стульев, а в Пьетралате не один и не двое по его вине в больнице повалились.

— А чего такое? — спросил Сырок, стараясь держаться запанибрата.

— Потолкуем, — ответил Америго, поддергивая ворот.

Автобус остановился в Форте-ди-Пьетралата. Из окон еще открытого бара падали косые отблески на вздутый асфальт. Америго, как заправский гимнаст, не вынимая рук из карманов, спружинил на ногах и соскочил с подножки.

— Пошли, — бросил он Сырку и Кудрявому.

И те, не подозревая, какой оборот примет дело, покорно сунули голову в петлю.

— Пройдемся пешком, — объявил Америго, направляясь мимо казармы берсальеров к Тибуртино.

Он повис на локте Сырка с таким выражением, будто у него все болит, где ни тронь. Ноги приволакивал, точно усталый боксер, но в этой вялой походке ощущалась готовность зверя к прыжку. С Кудрявым и Сырком он продолжал разыгрывать пай-мальчика, который и не думает пускать в ход свою недюжинную силу, потому что по натуре он просто агнец божий. Время от времени он кидал на мальчишек загадочные взгляды, словно бы они на равных и дела у них общие.

— Ступай за мной, не пожалеешь, — посулил он Сырку.

— А куда? — поинтересовался тот.

Америго кивнул в сторону Тибуртино.

— Недалеко, к Филени.

Сырок впервые слышал о таком заведении, но не задавал лишних вопросов. Америго, сочтя это за согласие, продолжил тихим, почти нежным голосом, какой, вероятно, слышал в детстве от матери, и при этом еще больше позеленел в лице:

— Нынче суббота, выпьем по чуть-чуть.

— Отчего не выпить? — хорохорился Сырок, решив про себя, что делать все равно нечего, так хоть поразвлечься.

Кудрявый упорно держался сзади и, как только они свернули к Тибуртино, заявил:

— Ну все, ребята, привет.

— Ты куда? — удивился Сырок.

Америго застыл на месте и поглядел на Кудрявого исподлобья, все еще держа руки в карманах.

— Спать — куда ж еще? Ноги совсем не держат.

Америго подошел к нему вплотную, глаза его налились кровью, а из горла вырвалось некое подобие смеха. Он действительно смеялся, так как не представлял себе, что ему в чем-то могут перечить.

— Вот что, кореш, — пока еще спокойно и вразумительно проговорил он, — я тебе говорю, пойдем со мной, потом же сам благодарить будешь... Ты меня еще не знаешь.

Сырка, который хорошо знал Америго, отчасти развлекала эта сцена. Он понимал, что Кудрявому все равно деваться некуда, кроме как идти с ними к Филени.

— А я говорю, спать хочу, — набычился Кудрявый.

— Чего спать, чего спать! — рявкнул Америго, наморщив лоб от смеха: как это к его советам кто-то смеет не прислушиваться. — Айда! — Он приложил руку к груди. — Вот и Сырок не даст соврать, правда, Сырок? Я таков, что мне слова никто поперек не скажет, а ежели я что скажу — все так и будет, понял, корешок? Почему?.. Да разве ж мы не друзья? Нынче я тебе, завтра ты мне — в том и дружба, верно говорю?

Теперь голос его звучал почти торжественно: мол, кто не с нами, тот против нас. Но Кудрявый нюхом чуял, что в компании Америго ему и Сырку ничего хорошего не светит. Сырок поглядел на него несколько странно. Делай как знаешь, ясно говорил его взгляд, я тебе не помеха.

Кудрявый пожал плечами.

— А я тебе ничего и не говорю поперек, — возразил он громиле. — Ты в своем праве, вот и ступайте ты да Сырок, куда намылились, я-то вам на что?

Но Америго не знал, у кого из двоих в кармане деньги, поэтому буйствовать не стал, а лишь склонился к самому лицу Кудрявого, обдавая его винным перегаром, и вперил в него пристальный, выражающий ангельское терпение взгляд. Но в этот момент из темноты на фоне желтоватых домов новой застройки вынырнули два знакомых силуэта.

— Карабинеры! — прошептал Сырок. — Они меня знают! На днях в кино прям чуть не взяли.

Америго большими глазами посмотрел на приближающихся стражей порядка и прикрыл лицо ладонью. Побелел как полотно, рот искривился в жалобной гримасе — вот-вот заплачет. Когда силуэты с оружием наперевес проходили мимо, направляясь к старым кварталам, он в последний раз провел рукой по лбу.

— Черт, как болит! Ровно клин в башку вбили! — Но, как видно, боль тут же прошла, потому что он опять склонился к Кудрявому, опустил ему руку на плечо и доверительно выговорил: — Ты, Кудряш, или как там тебя, лучше не киксуй, пошли, сам потом спасибо скажешь. — И сразу перешел на ораторский тон: — Даю слово, пусть я буду последний сукин сын, если ты потом не извинишься за свое упрямство!

Тяжелая рука, точно крышка гроба, давила на плечо Кудрявого.

Делать нечего — он понуро двинулся за ними по главной улице Тибуртино, где в двух барах светились окна, но улицы уже притихли; лишь вывешенное под окнами белье хлопало на ветру, да где-то тихонько звенела гитара. Троица свернула к загаженному, провонявшему рыбой крытому рынку, миновала две-три совершенно одинаковые улицы и приблизилась к дому с покосившейся каменной галереей в стиле модерн.

Они поднялись по лестнице, прошли по галерее, и Америго постучал в приоткрытую дверь, откуда сочился луч света. Чья-то рука изнутри растворила ее пошире, и ребята очутились в кухне, полной людей, сгрудившихся вокруг стола в совершенном безмолвии. Семеро играли в ландскнехт, остальные жались к стенам или к мойке, заваленной немойтой посудой, и наблюдали.

Вновь прибывшие протиснулись сквозь толпу. От одного взгляда Америго люди

сторонились, уступая им место. Америго сразу увлекся игрой и как будто забыл о спутниках. Кон сменялся коном, народ проигрывал и выигрывал, то и дело по кухне проносился шепоток, а порой кто-то даже комментировал вслух. Сырок с непринужденным видом осмотрелся, хотя ему до смерти хотелось спать, а карты он вообще не жаловал. С Кудрявого, напротив, сонливость как рукой сняло: он вспомнил свое детство на виа Донна Олимпия, когда резался в карты на деньги, вырученные от продажи водопроводной арматуры, и весь раскраснелся от возбуждения, глаза загорелись азартом. По завершении очередного кона Америго поворачивал голову — нет, не к ребятам, а к взрослым, толпившимся вокруг, и, качая головой, хрипел:

— Чтоб они сдохли!

Прямо перед ним, сторбив плечи, сидел тип с гладко зачесанными — под Руди¹ — волосами — извозчик по прозвищу Выпивоха; он все время проигрывал и мрачнел с каждой минутой. Наконец он рывком поднялся и отошел от стола. В тот же миг стоявший за его плечами Америго обратил к Сырку скорбное лицо и шепнул, как будто меж ними давно был уговор:

— Дай-ка тыщонку.

— Нету у меня, — отрезал Сырок.

Тогда желтоватые глаза Америго впились в стоявшего позади Кудрявого.

— Гони деньги.

Кудрявый замялся.

— Да ладно, я тебе верну, я ж не вор, в самом-то деле!

— Дай ему, — посоветовал Сырок, — все равно не отвяжется.

— Выигрыш пополам, — заявил Кудрявый и выудил из кармана бумажку. — А продуешь — половину мне вернешь.

— Я ж не вор, в самом-то деле, — повторил Америго. — Как скажешь, так и будет.

Нетерпеливо выхватив у него купюру, Америго разменял ее и поставил на кон три сотни. Из рук сдающего к нему скользнули, словно смазанные маслом, карты. Колода сюда, колода туда: картежнику довольно одного взгляда, чтобы понять, как складывается игра.

Первый кон Америго выиграл и чуть скосил глаза на Кудрявого, который с угрюмым видом наблюдал за происходящим. Зато Сырок неожиданно развеселился.

— Эх, где-то бычок у меня был! — сказал он и выудил из кармана окуроч.

Америго выиграл и во втором кону; припрятав выигрыш, он перемолвился словом с прилизанным извозчиком: тот хоть и проигрался, но не отходил от стола. На Кудрявого и Сырка он глянул мельком и подмигнул, чтоб не выступали. Однако вскоре удача изменила ему, и после пяти или шести конов он остался в нулях. В глазах, обращенных к Сырку и Кудрявому, вновь появилось больное, измученное выражение. Кудрявый, кстати, тоже чуть не плакал. Но ни он, ни Сырок не посмели упрекнуть Америго или напомнить о долге. Тот встал из — за стола и принялся наблюдать за игрой, мысленно производя подсчеты и время от времени пытаясь объяснить Выпивохе, отчего остался в проигрыше. Немного погодя он вновь обратился к Кудрявому:

— Гони еще денег!

— Совсем сбрендил? — окрысился Кудрявый.

— А кто мне долг вернет?

Америго немного помолчал и опять за свое:

— Деньги давай!

— Нет, уж, — уперся Кудрявый, — в эти игры я больше не играю.

Но Америго, должно быть, уловил неуверенность в тоне и стал еще настойчивее сверлить его взглядом.

— Слышь, что скажу... — Стальной хваткой он сжал запястье Кудрявого и, словно

¹ Рудольф Валентино (1895–1926) — американский киноактер итальянского происхождения.

чурку, вывел его из кухни на галерею. Снаружи опять заморосило, но сквозь рваные тучи то и дело пробивалась луна.

— Ты мне как брат, — зашептал Америго. — Ты слушай, чего тебе говорят: у меня что на языке, то и на душе. Спроси кого хошь про Америго, хоть в Тибуртино, хоть в Пьетралате, меня тут каждая собака знает, я тут самый уважаемый человек. Ежели я могу кому помочь, так помогаю, никогда не откажу. Потому, ежели я кого прошу помочь, так и мне должны помогать, правда ведь?

Кудрявый открыл было рот, но Америго не дал ему вставить слова.

— Ну, чего стусевался? — Двумя пальцами он ухватил его за лацкан куртки и беспрестанно кивал, как бы в доказательство своей правоты. — Чего ты? Коли ближний тебя просит, так ты разве не обязан ему помочь, а? Тебе разве никогда помощь не понадобится?

— Так-то оно так, — ответил Кудрявый. — А что я завтра жрать буду?

Америго выпустил воротник Кудрявого, приложил руку ко лбу и в отчаянии замотал головой: ну как объяснить, если человек не понимает простых вещей?

— Я тебе толкую, а ты все никак усечь не можешь! — Он даже хохотнул от этакой непонятливости. — На завтра назначаем встречу. Во сколько тебя устраивает?

— Откуда я знаю? — пожал плечами Кудрявый. — Ну, в три.

— В три, — согласно кивнул Америго. — У “Фарфарелли”, идет?

— Идет, — ответил Кудрявый.

— Заметано. — Америго поднял обе руки. — Завтра в три, как штык, у “Фарфарелли”, и я верну тебе все твои деньги. Так сколько их у тебя?

— Сотни четыре, наверно.

— Покажь! — потребовал Америго, зажав плечо Кудрявого в тиски своих пальцев.

Кудрявый достал несколько бумажек из кармана штанов. Америго выхватил их у него и пересчитал. Затем вернулся в дом, не оглядываясь, идет ли за ним Кудрявый. Сырок тем временем разговорился с извозчиком. Америго просунул руку меж спин играющих и положил на стол деньги. Сел и снова продулся вчистую. Разумеется, ему и на этот раз никто претензий не предъявил. Америго встал рядом с Кудрявым и Сырком и давай оправдываться. Они еще постояли у стола, затем втроем вышли, и никто не заметил их ухода.

Небо с одного края прояснилось, выглянули влажно поблескивающие звездочки, с неба на землю слетел тихий ветерок. А в Риме все еще бушевало ненастье, судя по обложным тучам, то и дело пронзаемым стрелами молний. Но гроза уже смещалась к линии горизонта. Над котлованом Тибуртино выплыла дымная, словно испуганная луна. Улицы-близнецы совсем опустели, только с главной еще доносился какой-то шум. Едва волоча ноги, тройка шла меж домов, по уграмбованной земле, из которой местами пробивалась чахлая травка. Сырок что — то напевал себе под нос; двое других шли молча, шаркая по земле отсыревшими башмаками.

— Ладно, пока, — сказал наконец Кудрявый.

Америго обратил к нему свое широкое лицо с мощными, подчеркнутыми лунным светом скулами. Оно ничего не выражало, только рот кривился, как открытая рана и глаза глядели хмуро, не улыбочиво.

— Нам в Тибуртине делать нечего, — пояснил Кудрявый. — Тут уж два шага — сам дойдешь.

Америго поцокал языком: надо же, опять этот сопляк ему перечит, вот ведь несознательный какой! Он уже понял, что с Кудрявым нужно терпение, что лучше воздействовать на него уговорами. И Америго терпел, хотя в глазах его при этом открывались такие черные бездны, от которых мороз продирал по коже.

— Вот если мы теперь вернемся, я точно выиграю. Я все их фокусы понял, хошь верь, хошь проверь.

Кудрявый ничего не сказал, только глянул на Сырка: у того от холода рожа стала лиловой, как луковица.

— А деньги? — простуженным голосом проскрипел Сырок.

Америго посмотрел на него, устало прислонился к косяку какой-то ржавой двери и беззвучно пошевелил губами, что, судя по всему, должно было означать: ни один дурак на его месте не смирился бы с подобным заявлением.

— Дай мне полсотни, — заявил он, должно быть, заранее зная, что деньги у Кудрявого есть.

— Клянусь, мы все отыграем да еще в прибыли останемся.

Голос у него был какой-то потухший, не в пример фигуре, напоминавшей своими размерами свиные туши, что свисают с крюков в мясной лавке. Глаза тоже затуманились и сделались маленькими, как у тех свиных туш, а гримаса на угрюмом лице недвусмысленно свидетельствовала о том, что его терпение вот-вот иссякнет.

Кудрявый вздернул брови и возразил писклявым, как у малолетка, голосом:

— Да у меня ни лиры не осталось!

Америго уселся на оббитую ступеньку.

— Пусть я потом десять лет в “Реджина-Чели” отсижу, но нынче ночью должен выиграть, — тихо обронил он.

Во, влипли, внутренне содрогнувшись, подумал Кудрявый и промолчал, чтоб не выдать своего страха. Но Америго после эффектной паузы вновь принялся их увещевать; неожиданно голос его зазвучал громче и строже.

— Мне не привыкать, ведь я уж несколько лет отмотал.

— Ну да? — удивился Сырок. — А где? На Порта-Портезе?

— Угу. — Лицо Америго потемнело от неприятных воспоминаний, губы задрожали и сморщились. — Загребли за смертоубийство.

— Иди ты! — еще больше заинтересовался Сырок. — И кого ж ты приложил?

— Овцу, — с неподдельным отчаянием вымолвил Америго. — Но пастух, язвы его душу, увидал и заложил меня. — Брови его поползли вверх, лоб покрылся морщинами, глаза были полны слез. — Чтоб их всех! А исполосовали-то как!.. — В голосе верзилы послышались визгливые нотки, как у плачущих женщин, видно, давняя несправедливость до сих пор не давала ему покоя. — Как исполосовали! Вот, гляди... — он выдернул рубаху из штанов и заголил спину. — На всю жизнь шрамы останутся.

— Что ж они с тобой сделали? — спросил Сырок.

— Что сделали, что сделали! — заскрежетал зубами Америго. — Высекли — вот что сделали, язвы их! Видал, шрамы до сих пор остались, — повторил он, задирая рубаху до самой шеи.

На голой, широкой, как стальной лист, спине играли лунные блики, и больше никаких следов насилия заметно не было. Сырок наклонился, дотошно обследовал поверхность по всей длине огромного хребта, вздымающегося над ремнем, и наконец изрек:

— Гм!

— Видал? — выговорил Америго позаимствованным у матери слабым голосом.

— Ни хрена там нет! — заявил Сырок.

— То есть как?! Посмотри получше.

Парень снова вперился в огромную спину и понял, что хочешь — не хочешь, а надо ему потрафить, поскольку Америго метнул на него такой взгляд, за которым шуткам конец.

— Черт побери, — наконец выдавил Сырок.

Америго опустил рубаху, заткнул ее в штаны. Слезы вмиг просохли, глаза вновь приобрели обычный желтоватый цвет и точно остекленели. Его брехня и жалобы должны были послужить сокрушительными аргументами. И тем не менее Кудрявый не произнес ни слова.

— Пошли! — не допускающим возражений тоном заключил Америго.

Но, видя, что Кудрявый все еще мнетя, пустил в ход последний, не дающий осечки трюк — двумя пальцами аккуратно взял его за рукав куртки.

— Пошли, кореш, пошли! Хочешь, чтоб я с тобой всякое терпение потерял? — добавил он сокрушенно, как будто лишь жестокая необходимость заставила его произнести эти слова

и вина за это полностью возлагается на Кудрявого.

Они вернулись в логово картежников, и еще на ступеньках под тяжелым взглядом Америго Кудрявый выгащил полсотни. Игра в кухне продолжалась. Никто не заметил их ухода, и возвращение их тоже никого не взволновало. Но теперь, пока Америго был увлечен игрой, пока он снова в пух и прах не продулся, Кудрявый бочком-бочком протолкался к раковине, шмыгнул за дверь и был таков.

И хорошо сделал, потому что, едва он вышел на галерею дома, откуда ни возьмись налетели карабинеры. Кудрявый вовремя заметил их и юркнул за угол.

— Язви вас в душу! — крикнул он громко и напевно: так велика была радость, что его не сграбастали.

И бросился бежать по виа Боккалеоне, а потом свернул на Тор-Сапыенца. В вышине уже не было видно ни облачка, горели фонари, на фоне черного неба рядами выстроились новые дома Тибуртино. Среди уличных фонарей просматривались вдаль и другие районы: Ченточелле, Боргата-Гордиани, Тор-де-Скьяви, Квартучоло. Кудрявый извлек из кармана пять сотенных бумажек, которые удалось сохранить, выбрал самую потрепанную и вручил контролеру.

— Ну и что? — спросил он сам себя, когда пустой автобус доставил его к Пренестино.

Огляделся вокруг, поддернул носки, удостоверился, что здесь ему делать нечего. И начал задумчиво напевать. Мимо проходили, грохоча, слабо освещенные трамваи, высаживали народ и сворачивали к чахлым полям. Сошедшие торопились к пригородным автобусам, что останавливались возле забегаловки с освещенными окнами. Бедолаги, приехавшие в Рим из Апулии или Марке, из Калабрии или Сардинии, бегом бежали в свои побеленные или прокопченные домишки, больше похожие на курятники. Одним словом, стар и млад, бос и гол, нагрузившись спиртного, возвращались в этот час в свои убогие предместья или окрестные деревни, теряясь в переулках и тупиках, стекающихся к району грандиозной застройки. Кудрявому так давно хотелось курить, что он решил разориться на три сигареты. Приосанившись, пересек площадь и, вновь пересчитав деньги, вошел в бар. Вскоре появился оттуда с висящей на нижней губе сигаретой и стал шарить глазами вокруг — у кого бы разжиться огоньком.

— Эй, парень, дай прикурить, — обратился он к какому-то юнцу у столба.

Тот молча поднес ему окурочку. Кудрявый затянулся, поблагодарил кивком, заложил руки в карманы и под звон трамвая двинулся дальше по безлюдному переулку.

Куда ни глянь, новостройки в лесах, мусорные свалки, заводы. Откуда-то издалека, наверно, от Маранеллы, доносится усиленная громкоговорителем музыка. Не доходя Маранеллы, на лугу Казилины, раньше была карусель, и Кудрявый направился туда, продолжая напевать, не вынимая рук из карманов и сосредоточенно втянув голову в плечи.

Поначалу навстречу ему попадались только пожилые озабоченные люди. Однако в Боргата-Гордиани, где улочка извивалась меж стен двух фабрик, он заметил ватагу ребят; заполонив по всей ширине мостовую, они шли вразвалочку и гомонили, как рой мух над столом с объедками. Время от времени кто-то давал приятелю затрещину и получал сдачи, кто-то с гордым видом размахивал руками, как на параде, кто-то, напротив, шествовал руки в брюки и презрительно поглядывал на остальных, как бы говоря: “И чего выкаблучиваются, дубье?” Некоторые оживленно обсуждали что-то, смеялись, кривя рот и недоверчиво причмокивая языком. Вся Аква-Булликанте будто замерла перед театральным выходом этой группы. Кудрявый насторожился. Нет, эти ребята против него лично ничего не имели — скорее, они бросали вызов всему свету, всем, кто не веселится вместе с ними. Но Кудрявый сразу почуял, что они не упустят случая его зацепить, тем более — их много, а он один. Он не принадлежит к этой компании, а потому на всякий пожарный лучше обойти ее стороной. Насвистывая и вроде не замечая их, он свернул в проулок. Но не успел сделать и двадцати шагов, как из канавы на замусоренном огороде услышал жалобный плач. Он подошел ближе и заметил мальчишку, ничком лежащего на траве.

— Ты чего? — склонился над ним Кудрявый.

Но тот не отвечал, только всхлипывал.

— Да что с тобой?

Кудрявый спустился в канаву и разглядел, что тот совсем голый, тощий и весь в грязи. Мальчик поднялся на четвереньки и начал говорить, перемежая речь всхлипами, как маленький:

— Они меня раздели, а шмотье спрятали, язви их душу, сукины дети!

— Кто? — спросил Кудрявый.

— Да вон те! — Несчастный поднялся на ноги и обратил к Кудрявому залитое слезами лицо.

Кудрявый бегом погнался за только что повстречавшейся ему ватагой.

— Эй, вы! — крикнул он издали.

Ребята остановились и разом обернулись к нему.

— Чего у парня одежду спрятали? — решительно, хотя еще миролюбиво начал Кудрявый.

— Да она у него под рукой, — весело отозвался один из них. — Пускай поищет хорошенько!

Кудрявый пошел на попятный: ни у него, ни у ребят не было настроения заводить ссору, ведь они из одного теста, не то что слюнтяй в канаве.

— Плюнь ты на него, он придурок, — посоветовал один и постучал указательным пальцем по лбу.

Кудрявый пожал плечами.

— Человек все же — не скотина.

Он счел свой долг защитника слабых выполненным, тем более что парень выбрался из канавы уже в штанах и обреченно рассматривал лохмотья, оставшиеся от майки. Веселая компания все не уходила. Один, прищурясь, уставился на Кудрявого.

— Чего глазеешь?

У парня были мясистые, потрескавшиеся губы и рожа уголовника, а черепушка маленькая, вся в завитках, точно кочан капусты.

— Иль мы знакомы? — спросил Кудрявый, приглядываясь к нему в свете фонаря.

— А то как же! — отозвался тот. — Вчера на Вилла-Боргезе познакомились. Я — Плут.

— А-а, извиняющимся тоном протянул Кудрявый. — Надо ж, я тебя и не признал. — Он подошел и протянул ему руку. — Куда это вы намылились?

— Да куда намылишься на пустой желудок? — сказал Плут, чем вызвал бурное веселье своей компании. — А ты?

Кудрявый поднял ворот куртки, поглубже засунул руки в карманы штанов.

— Да просто шатаюсь. Я ведь в бегах.

— Чего так? — усмехнулся Плут.

— Что я, дурак, сам в петлю лезть? Там меня живо сцапают. Нынче играл в ландскнехт в Тибуртино, а тут полиция, черт ее принес, — всех под гребенку. Язви их в душу, там ведь и Сырок был!

— Какой Сырок?

— Ну корешок, что был со мной вчера вечером... Теперь уж небось в камере.

— Я тоже в бегах, — сообщил Плут. — Домой дорога заказана. Меня там брательник сразу пришьет.

— Да как он тебя пришьет? — возразил ему кто-то. — Сказано тебе, загребли его в субботу!

— Помню, помню! — отозвался Плут. — Но с матерью мне тоже встречаться неохота, чтоб она сдохла!

— Да, хреновые твои дела, — засмеялся его приятель. — Мать дома, брат в кутузке. Куда ни кинь — всюду клин!

Все загоготали.

— Наплевать, пробьемся! — уверенно заявил Плут.

Со смешками и подначками компания продолжила свой путь к Маранелле.

— Все одно Элина сегодня не выйдет, — сказал кто-то.

— Как это не выйдет, как это не выйдет?! — возмутился другой. — Она всегда выйдет.

— Ну да, так она тебе и вышла с таким пузом. Ее поди давно в родилку увезли.

— Ладно травить-то! Какое уж у нее пузо — от силы четыре месяца.

— Хрен тебе — четыре! Четыре весной было, когда мы с ней трахались.

— Вспомнил, что десять лет назад было! — философски заметил Плут. — Да и что толку в этих разговорах! Бьюсь об заклад, у нас на пятерых и сотни не наберется.

— Впервой, что ль, ее в долг трахать? Сколько раз бывало: пошли, говорим, за сотню, она идет, а мы ей шиш!

— Ну да, ты известный сукин сын! — покачал головой Плут.

Так за разговорами они дошли до Маранеллы и позабыли про Элину. С карусели раздавалась музыка, слышался людской гомон, шарканье ног. Народ, несмотря на позднее время, толпами стекался туда от трамвайной остановки, словно там праздник или случилось что.

— Да там же цирк! — завопил кто-то и нырнул в людской поток.

— Сам ты цирк! — проворчал Плут, но тоже прибавил шагу.

От Казилины, по разбитой, плохо освещенной мостовой валом валил народ. У кинотеатра “Два лавра” собралась толпа, вся испещренная огоньками карманных фонариков.

— А ну вас! — разочарованно протянул Плут.

— Шествия не видали?

Ребята, запыхавшись, остановились на пяточке, и уже не знали, что им делать: то ли в Прато пойти, на карусель, — быть может, тир той блондиночки до сих пор открыт, — то ли поглазеть на то, что происходит здесь, в Маранелле. Наконец уселись на край тротуара, у ног прохожих. Народу все прибавлялось: желающих поглазеть на шествие оказалось очень много. Кто-то запел, кто-то отвесил подзатыльник зазевавшемуся приятелю, двое, сцепившись, катались в пыли.

— Да ну, — фыркнул Кудрявый, — стоило ради этого из Пренестино тащиться!

— А там чего делать? — повернулся к нему Плут.

— Да хоть бы к вашей Элине подкатиться.

И действительно, тут собрались все больше старички да старушки, или мамыши с детьми. У всех в руках были свечи, вставленные в картонные воронки, чтоб ночной ветер не загасил. То и дело кто-нибудь не в лад запевал. Дойдя до перекрестка, люди останавливались на тротуаре у пиццерии; два парня приставили столик к облупившейся стене. На этот столик вскарабкался какой-то старик, начал славить Христа и поносить коммунистов.

Туда, где остановились Плут, Кудрявый и остальные, голос старика почти не долетал из — за страшного шума и давки.

— Да тихо вы! — крикнул один парень.

— Ты что, Огрызок, петушка этого послушать захотел? — спросил Плут.

Тот, кого он назвал Огрызком, вытянул шею и напряженно вслушивался.

— Говорит как пишет! — удивленно выдохнул он.

Кудрявый ткнул в бок Плута.

— Тебе еще не обрыдло?

— И не говори! — согласился Плут.

— Вернемся, а? — И он кивнул в сторону Пренестино.

— Рехнулся?

— Ты не думай, у меня деньги есть! — зашептал ему в ухо Кудрявый. — Но только на нас двоих.

Плут покосился на него, потом огляделся по сторонам: остальные вроде не слышали.

— Ладно, иди первый. Я догоню.

Кудрявый тихонько выбрался из толпы, что во все глаза пялилась на старика. Но тот

поговорил еще минут пять и стушевался, а шествие с песнопениями продолжалось. Кудрявый отошел немного и обернулся к центру площади. Плут вскоре нагнал его.

— Ну что, не заметили?

— Нет. Кажись, на карусели собираются.

Болтая, они дошли до Аква-Булликанте, и всю дорогу в ушах смешивались псалмы и самбы, рвущиеся из фонографа. Здесь народу на улицах было не много: лишь запоздалые прохожие возвращались в Боргата-Гордиани или в Пиньето, и какой-то пьяный горланил “Бандьера росса” вперемежку с “Королевским маршем”.

Элину они разыскали в крошечной тьме, королевой которой она по праву считалась. За трамвайным кольцом, есть тупик, затененный сзади силуэтами строящихся многоэтажек, а спереди — уже построенных; он отдан на откуп мусору и сорнякам. В тени огромной, вздымающейся в небо коробки с освещенными окнами, среди нагромождения каких-то решеток, лесов, щебенки, свила себе гнездо упомая Элина.

Плут и Кудрявый разыскали маленькую и толстую, как свиная колбаса, женщину, переговорили с ней и пролезли под сетку меж кучами нечистот.

Дело они обделали быстро, потом выбрались, обмылись в фонтанчике на площади. О ночлеге взялся позаботиться Плут. За Боргата-Гордиани, на росистом лугу, откуда просматривались все предместья от Ченточелле до Тибуртино, стоят огромные проржавевшие бидоны, сброшенные там вместе со всяким ненужным ломом, хотя и обнесенные оградой. Высотой они в человеческий рост, и такие широкие, что в них можно передвигаться на четвереньках. В два бидона Плут набросал соломы, они с Кудрявым забрались внутрь, задрыхли и проснулись наутро уже в одиннадцатом часу.

Плут промышлял на виа Гусколана, пьядца Ре-ди-Рома, виа Таранто, вблизи рынков, казарм и монастырских столовых. Когда сбегал из дома, обычно подыскивал себе какую-нибудь не пыльную работенку — корзины подносить торговцам рыбой, бегать на побегушках у коммивояжеров, — но в основном щипал с прилавков или в трамваях. А под настроение оставался в пригороде, ходил с мешком, собирал на помойке старые железяки. Но такое случалось редко — охота ли горбатиться и глотать пыль, которую потом даже литром вина не выполощешь, да к тому ж на это вино половина выручки уйдет. Кудрявый тоже не был чемпионом по сбору металлолома — пускай малолетки этим занимаются. Поэтому на окраину они заявлялись только спать в бидонах, а все дни проводили в Риме. Если два дня подряд удавалось добыть себе пропитание, то на третий к черту всякую работу — они садились в автобус, идущий в Аква-Санту. Забирались в чахлые кусты на Новой Аппиевой дороге, карабкались по запыленному склону меж пещер, теснин, выжженных солнцем лужаек, овражков, валунов, каменных россыпей и попадали наконец в землю обетованную. Все их надежды были связаны с тем, чтобы встретить за одним из поворотов проститутку, как раз поджидающую сопливого клиента из предместья или из народного дома, которые теперь росли на окраинах, как грибы. Если крупно повезет и у входа в пещеру попадет немец в золоченых очках с газетой, то с него все можно будет снять, до трусов. Останутся вроде бы водички попить и подождут немца, что козликом скачет себе по уступам и оврагам за самыми пропитыми шлюхами.

В один прекрасный день эти два лоботряса, встретили в погоне за проституткой не кого-нибудь, а двоюродного брата Кудрявого — Альдуччо. Кудрявый развеселился и прибавил шагу — надо же помочь родственнику! Альдуччо в одних трусах прятался в относительной тени тростника.

— Как дела, братишка? — окликнул его Кудрявый.

— Как всегда, — галантно отозвался Альдуччо. — Чем дальше, тем больше хочется послать все к чертовой матери и уйти в банду.

— Ишь ты! — хмыкнул Кудрявый, стягивая через голову майку.

— Кто не работает, тот не ест, а где ее взять, работу? — Альдуччо с обреченным видом жевал жвачку.

— Ну что ж, — заключил Кудрявый, стараясь попасть в тон, — давай достанем пушки

да подадимся в банду.

Альдуччо серьезно посмотрел на него — он ведь не привык зазря языком чесать — и кивнул.

— Заметано!

Плут не мог слушать чей-то разговор больше минуты, чтобы не встрять в него, потому, уцепившись за слово “пушки”, он дурашливо воскликнул:

— Какие там пушки — не пушки, а танки!

Кудрявый и Плут блаженно растянулись на краю источника.

— А что в Тибуртино делается? — поинтересовался Кудрявый.

— Что там может делаться? Говорю же — как всегда.

— Слушай, а ты знаешь Сырка из девятого дома?

— Кто его не знает?

— Ну и как он? — расспрашивал Кудрявый.

Вместо ответа Альдуччо поднес к глазам скрещенные напоподобие решетки пальцы — в тюрюге, мол, на Порта-Портезе.

— Ты подумай! — пробормотал Кудрявый, про себя посмеиваясь.

— Загребли у Филени, в ландскнехт играл, — пояснил Альдуччо.

— Да знаю. — Он хитровато прищурился. — Я ведь тоже там был.

Альдуччо с любопытством глянул на него и добавил:

— А этот-то, Америго, помер.

Кудрявый рывком сел и впился в него глазами. Уголки его губ подрагивали от сдерживаемого смеха. Вот уж новость, так новость, его так и распирало от любопытства.

— Как ты сказал?

— Помер, говорю, помер, — повторил Альдуччо, довольный тем, что принес такое потрясающее известие. — Вчера, в больнице.

В тот злосчастный вечер, когда Кудрявый слинял из дома Филени, Сырка и других замели. Сопротивления никто не оказал. Америго вывели из дома двое карабинеров, но едва они вышли на галерею, как он шарахнул обоих об стену — и бежать. Но подвернул ногу и стал ползком пробираться вдоль дома. Карабинеры открыли стрельбу, пуля угодила ему в плечо, а он все бежал, бежал и добрался до Аньене. Спасаясь от преследования, истекая кровью, еле — еле дополз до берега и бросился в воду, надеясь переплыть на другой берег и огородами пробраться к Понте-Маммоло или Тор-Сапьенца. Однако на середине реки потерял сознание. Карабинеры выловили его, привели в комиссариат, окровавленного, грязного, а потом под конвоем отправили в больницу. Через неделю он очухался и хотел перерезать себе вены осколком разбитого стакана, но и на этот его раз спасли. А десять дней назад он выпрыгнул из окна второго этажа. Неделю без сознания провалялся и все же отдал концы.

— Завтра похороны, — сообщил Альдуччо.

— Язви его! — потрясенно выдохнул Кудрявый.

А Плут, показывая, что ему все до фени, что нет такого события, какое могло бы его удивить, запел:

Каблучки-подковочки... — и, закинув руки за голову, вольготно растянулся на траве.

Кудрявый немного подумал и решил, что необходимо исполнить последний долг — пойти на похороны Америго. Хоть они и были едва знакомы, но все-таки Америго друг Сырка, да и вообще интересно.

— Завтра в Пьетралате, — условился он с Альдуччо. — Только уговор — никому! Не дай Бог, отец пронюхает.

Америго лежал, как полагается, со скрещенными на груди руками, в белой рубашке, черных ботинках и новом синем двубортном костюме, — знатный костюм: брюки-дудочки и короткий пиджак с подложенными плечами, — бывало, Америго в нем так гордо выступал по воскресеньям на зависть всей Пьетралате. Деньги на этот шикарный прикид он раздобыл, ограбив кого — то на виа Прати-Фискали — разул какого-то дурака на тридцать тысяч, а для

острастки еще и кровь ему пустил. Потом справил себе обновки, стал в них разгуливать и совсем заважничал. Друзья, лебезившие перед ним, старались его не раздражать, а те, кто не были с ним знакомы, после первой встречи где-нибудь в бильярдной или в клубе компартии, возвращались домой с фонарем под глазом или распухшей скулой, и хорошо еще, если при нем не было ножа. Но все меняется: теперь вот и он стал жертвой, позволил скрестить себе руки на двубортном пиджаке, застегнуть на все пуговицы воротничок белоснежной рубашки, прилизать волосы, чтоб ни один не выбился. Таким франтом покойник не был даже при жизни. Но всем почему-то казалось, что Америго просто уснул, во всяком случае, даже мертвый он наводил страх. Вот-вот проснется и устроит веселую жизнь всем, кто осмелился его положить на слишком короткую кровать и подсунуть сероватую подушку под обильно смазанные брильянтином волосы.

Кудрявый вошел в комнатенку на первом этаже дома в компании своих друзей из Тибуртино. Перед парадным без двери поднимались справа и слева две лесенки и стояла группка людей, одетых в черное. Все Луккетти явились исполнить свой родственный долг и считали себя героями дня. Ребятишки же и молодежь траура не соблюдали — оделись ярко, нарядно, будто на танцульки, а не на похороны. Соседи по дому, уютившиеся по десять-двенадцать человек в каждой комнате, держались в сторонке, а из-за их спин робко выглядывали друзья Америго: Ардуино, которому еще в детстве ручной гранатой оторвало нос и вырвало один глаз, один туберкулезник из двенадцатого дома, Сволочуга, Патлатый, сын синьоры Аниты, что все пел под гитару, особенно по ночам, когда шпана возвращалась после удачного дельца и до утра, ссорясь, делила барыш среди освещенных луной барачков. В отличие от старших, мелюзга облепила стены дома и тихонько переговаривалась или с завистью следила за совсем голопузыми, игравшими в мяч на ближней лужайке.

Едва Кудрявый проник в обитель смерти, ему тотчас же захотелось наружу: в комнате было темно и сыро, как зимой, к тому же ее заполнили тетки и сестры Америго, все как на подбор коровы, так что не протолкнешься. Они с приятелями поглядели на усопшего и смущенно (ибо не делали этого со дня первого причастия) осенили себя крестным знаменем. Потом вышли на улицу послушать разговоры соседей. В центре толпы с отрешенным видом стоял Альфио Луккетти, самый молодой из дядьев, чернуший, как и сам Америго, с такими же мощными челюстями. Этот Альфио три года назад пырнул в живот хозяина бара у автобусной остановки, а теперь говорили, что одна шлюха из Тестаччо, которую он содержит, обирает его до нитки. В беседе со своими сородичами он был немногословен, явно не желая делать свою жизнь достоянием гласности, загадочно покачивал головой и смотрел поверх голов, засунув руки в карманы серых в полоску брюк. Черный пиджак сидел на нем в обличку, желваки на скулах ходили ходуном, точь-в-точь как у Америго. Ростом он тоже не подкачал — если вытянет руку, достанет провода на столбах.

Альфио изображал из себя хранителя великой тайны, которой — все соседи это чувствовали — была окутана смерть Америго. Грозный свет этой тайны отражался на всех лицах, и прежде всего на сером щетинистом лице Альфио в обрамлении волос, спускавшихся спереди на лоб, а сзади на перелицованный воротник рубахи. Лица прочих дядьев и двоюродных братьев тоже были замкнуты, объединенные сознанием долга, молчаливым укором, многозначительной бесстрастностью. О причине смерти все, как по уговору, молчали, решив сохранить свои соображения по этому поводу в семье, а на людях ограничиться полупамятками. В круг этих замкнутых лиц входили и Ардуино с черной заплаткой, прикрывавшей отсутствующий глаз, но не останки носа, и сын синьоры Аниты, и Сволочуга, и Патлатый, но в глазах у них, невзирая на приличествующую случаю серьезность, проглядывало какое-то хищное довольство, как у солдат в бане. Альдуччо на лету ловил слова, которыми обменивались Альфио и другие мужчины, то и дело кивал, вжимал голову в плечи, растягивал губы и бормотал:

— Знаю, знаю, язви его, все знаю...

— Чего знаешь? — спросил Кудрявый; пожалуй, он единственный из всех не ведал ни

о чем ни сном, ни духом.

Альдуччо не отвечал.

— Про что знаешь, Альду? — приставал Кудрявый.

— Про то, что говорят, — смилостивился Альдуччо.

Кудрявый вдруг вспомнил о девятом доме с его казино и забыл дышать. На Альфио Луккетти он взирал в благоговейном восхищении. А тот тем временем отделился от толпы и стал в сторонке, еще глубже засунув руки в карманы.

Из дома слышался надрывный женский плач, мужчины, напротив, не проявляли никаких признаков скорби, а уж тем более — сопливая детвора или старичье. Всех происходящее действо только развлекало. В Пьетралате живых-то никто не жалеет, что уж говорить о мертвых!

Торопливо, ни на кого не глядя, прошел священник. За ним семенили две сухонькие фигурки, точно котята, каких полно в каждом доме Пьетралаты, а особенно на помойках. Они семенили за падре, махая кадилами на людей, стоящих под знойным солнцем, или расхаживающих взад-вперед, или играющих, или что-то выкрикивающих. Оборванная детвора, как стая ос, все гомонила поодаль, играя в мяч; в баре на остановке, как всегда в этот час, собралась толпа бастующих. Лица злые, насмешливые; кто прислонился к дверному косяку, кто к высохшему стволу дерева; кулаки, заложенные в карманы, оттягивают брюки без ремней, оттого ширинка свисает ниже, чем надо. Другие толпятся во дворах под грязными окнами и возле бывшей уборной, распроданной во время войны по кирпичику. Все заняты созерцанием похорон. Священник вошел в дом, совершил обряд, потом вышел в сопровождении служек, женщины тоже высыпали наружу, а мужчины вынесли на руках гроб, погрузили его на черный катафалк, и вся процессия медленно двинулась вдоль по виа Пьетралата. Прошли мимо бара, перегородив дорогу стоявшему на остановке автобусу, потом миновали пустырь с двумя детскими качалками, унылое, как тюрьма, здание амбулатории, выжженные лужайки, лачуги в розовой штукатурке, фабрики, словно бы только что пережившие бомбежку, и вышли наконец к подножию холма Пекораро, изрытого полуобвалившимися пещерами.

— Чего теперь? — тихо спросил Кудрявый у Альдуччо, шагая в толпе людей, обступившей катафалк и священника.

— А я знаю? — отозвался тот, засунув руки в карманы и топорща полы выправленной рубахи.

Беспорядочная процессия все замедляла ход. А Кудрявый с Альдуччо шли еще тише, подавшись вперед и подогнув колени, будто ревматики, — то и дело приходилось догонять остальных.

— А я и не знал, что на похоронах такая скучища, ужас просто! — грустно вымолвил Кудрявый.

— Да уж! — подтвердил, покосившись на него, Альдуччо.

Они увидели в глазах друг друга глубокую печаль, вдруг осознали всю эту скорбную тишину, и обоих начал разбирать смех. Они дико вращали глазами и напрягали шею, чтоб не оскандалиться. Но, как на грех, в маслянистом теплом, воздухе все контуры становились четче, прозрачнее, а легкий ветерок, — ну прямо тебе апрель! — создавал атмосферу праздника и в то же время навевал сонливость. Ни дать, ни взять, первое воскресенье лета, сразу после Пасхи, когда начинается пляжный сезон, и все спешат в Остию. Даже суетное движение Тибуртины как-то притихло, будто накрыли его стеклянным колпаком, подсвеченным и разогретым солнечными лучами. И тут в Форте весело зазвучала труба берсальеров, возвещая время обеда.

Перед баром, на углу Тибуртины, после короткой заминки, толпа рассеялась. Катафалк набрал скорость и в сопровождении такси с членами семейства Луккетти на всех парах помчался к кладбищу Верано.

5. Теплые ночи

Где сытому голодного понять!

Дж. Белли²

Плут поджидал Кудрявого и Альдуччо, сидя под забором. Нынче он принарядился: надел вельветовые штаны и черно-красную куртку, в которой, по его представлениям, мог затмить всех в Маранелле. Но, погнав мяч с ребятами, взмок от пота и плюхнулся прямо в пыль. А тем хоть бы хны — играют без устали на замусоренной лужайке между Аква-Булликанте и Пиньето. Над забором, на жестяной крыше своего сарая, возлежала Элина: позолоченные серьги в ушах, под мышкой жалобно скулит младенец. Но Плут, поглощенный мыслями о Кудрявом, ее даже не замечал. Запаздывает что-то Кудрявый. Вечно его ждешь, все настроение испортит! Плут что — то напевал себе под нос, прислонясь головой к поломанному забору и раскачивая его в такт песне, отчего уже повывдрал себе немало волос. Глаза прикрыты, голос звучит еле слышно — то ли молитву читает, то ли распевается, как оперный певец, берегущий связки. Слов не разобрать даже в двух шагах, только рот открывается и закрывается, а жилы на шее натягиваются, как от удавки.

То и дело Плут прерывал свои тихие рулады и что-то кричал гоняющим мяч. Один игрок, лет тринадцати, бегал по полю с окурком во рту, другой растянулся на земле и от души поливал бранью приятелей, носившихся вокруг него.

— И как вам не надоест? — прокричал в очередной раз Плут, не слишком, впрочем, надрываясь.

— Даже тебя ноги не держат, а нам каково? — отозвался вратарь. Он, хоть и напялил найденные на помойке трусы и перчатки и принял на всякий случай боевую стойку, но давно уже стоял без дела под перекладной.

Вдруг распростертый на земле парень ожил, вскочил на ноги и ринулся в гущу игроков. На бегу подтянул штаны, выдернув из них грязную майку и бросился наперерез коротышке, что носился за мячом резво, как стриж, несмотря на зажатую под мышкой бутылку молока, и едва не сшиб его с ног. Оба они очутились совсем рядом с Плутом, прямо под крышей Элины, чей силуэт вырисовывался на фоне безоблачного неба, словно статуя мадонны во время религиозного шествия.

— Чтоб вы сдохли! — в который раз выругал Плут Кудрявого и Альдуччо, однако не утратил беззаботного расположения духа.

Ему вдруг стало жаль стрижа, у которого верзила отобрал мяч, захотелось как-то его подбодрить. Плут вскочил и грозно надвинулся на обидчика. Тот сразу поутих. Вместе с малышом они разыграли мяч и в мгновение ока послали его в ворота. Плут издал торжествующий клич. А малыш поставил на землю бутылку и начал восторженно приплясывать вокруг нее. Потом уселся на пятки, широко расставив колени, и выдал победный залп.

— Верно, сопляк, наша победа, — покровительственно кивнул ему Плут.

Второй игрок сердито надулся.

— А ты, — весело окликнул его Плут, — и думать не смей на моего птенца тянуть!

Мимо них, направляясь к многоэтажкам и трущобам Аква-Булликанте, с визгом пронесся черный катафалк.

— Прощай, красавица моя! — напутствовал Плут машину и тут же вспомнил про Кудрявого: ведь он вроде тоже на похороны собирался.

С утра Плут сбежал из дому из страха перед старшим братом, причем страх был небезоснователен, ведь он такую свинью ему подложил, что на его месте и сам кому угодно наплевал бы в рожу. Хотя, если взглянуть в плане морали... Да-да, именно морали!.. Ну вот еще, им с братом только и дела до морали! И что ему (Плуту, то есть) стукнуло в башку в тот

² Белли, Джузеппе Джоаккино (1791–1863) — выдающийся итальянский поэт, автор сатирических сонетов на римском диалекте.

вечер?.. А то и стукнуло, что навешали ему тумачков, сперва в предвариловке, а после в камере. Причем не в Порта-Портезе, а в Реджина-Чели, потому что не гляди, что он с виду сопляк, а восемнадцать уже стукнуло.

Почесав в затылке, Плут задумчиво изрек:

— Только нам и дела до морали!

И был прав, потому что первые слова, которые он услышал в камере из уст одного хмыря, похожего на воскресшего из мертвых Лазаря, были:

— Скажи, пожалуйста, знатная жопа!

На его счастье, старший брат, Плут номер один, считался в Реджина-Чели самым авторитетным вором римских предместий, и доля уважения к брату перепала и Плуту номер два, несмотря на “знатную жопу”. Через неделю-другую его выпустили условно, и он вернулся на Торпиньятгару. Мать встретила его словами:

— Знаешь, милый мой, кто не работает, тот не ест!

— Дай же передохнуть хоть чуток! — взмолился он. — Я ведь прямо из тюрьги!

И в тот же вечер пошел кутить с друзьями в бар “На зеленом ковре”, потом в “Булатный нож”, где собирались все подонки Маранеллы и недоростки, которые только начали посещать бильярдные и прочие злачные места. Плут над ними посмеивался и важничал: еще бы, ведь он уже побывал в Реджина-Чели, это вам не шутка. Они нахлестались вина и, вдрызг пьяные, разошлись по домам.

Плут со старшим братом спали в каморке без окон — один на старой скрипучей кровати, другой на кушетке. Около полуночи Плут, который во хмелю никак не мог заснуть, сбросил старые штопаные простыни и начал распевать что было мочи. Брат спал как убитый, разинув рот и заткнув простыню между ног, но вдруг перевернулся на живот и простыни под себя сграбастал. А Плут все драл глотку.

— А?! Ты чего?! — встрепенулся старший.

— Да пошел ты! — бесшабашно отозвался Плут.

Брат наконец расчихал, в чем дело, встал и дал ему такого пинка, что он к стенке отлетел. После чего опять завалился на боковую.

Наутро Плут, выйдя на улицу, первым делом увидал брата: тот подждал его, сидя на мопеде.

— Садись.

Плут без звука повиновался, и брат, ловко лавируя среди утренней толчеи в Маранелле, пробрался переулками, примыкавшими к Торпиньятгаре (прямо по ней в этот час не проедешь — рынок работает); на семидесяти в час рванул к Мандрионе и быстро достиг Аква-Санты. Не слезая и не сбавляя скорости, свернул в четвертый закоулок, и, когда они очутились среди пустырей и трущоб, вырубил мотор, спрыгнул и велел Плуту:

— Защищайся!

Полчаса они мутузили друг друга, в конце концов Плут, обессилев, запросил пощады.

Кудрявый и Альдуччо тащились пешком от самой Пьетралаты и уже ног под собой не чували — ползли на полусогнутых, как нищие, но фасон, однако, держали. Наверно, они прошагали уже километра четыре от виа Боккалеоне, мимо Пренестины, до Аква-Булликанте, через загаженный пустырь и квартал полуразвалившихся лачуг, мимо громадной фабрики с проржавевшими трубами. Но это еще что! Им предстояло пройти всю Казилину. Плут, свежий, как роза, после того как сделал внушение опоздавшим, за что был обозван сволочью и сучонком, выступал впереди бодрым шагом, а приятели ковыляли следом, едва не подыхая от усталости.

Выбранный Плутом маршрут на виа Амба — Арадам был им не знаком. То еще местечко! Улица, поднимаясь уступами, пересекает бульвар Сан-Джованни и тянется дальше, меж чахлах деревьев и пришедших в упадок вилл. На одном уступе громоздились низкие строения, крытые ржавым, посверкивающим в последних отблесках солнца железом. Было тихо, но из открытых окон то и дело доносились голоса рабочих. Трое ребят гуськом прошествовали мимо них, — один для отвода глаз напевал, другой насвистывал, — и лишь

отойдя подальше и укрывшись среди развалин, шепотом обменялись впечатлениями.

— Чтоб я сдох! — восхитился Кудрявый. — Добра-то сколько!

— А я тебе что говорил? — торжествовал Плут.

— Но уж больно светло, — скептически заметил Кудрявый, чтобы сбить с приятеля спесь. — И потом, без тележки тут не управиться.

— Да где ее взять, тележку?

— Может, сгоняем в Маранеллу, зайдем у ремо-старьевщика? — предложил Альдуччо и сразу скис, поняв свою оплошность.

Плут, презрительно скривил губы, поглядел на него и даже ответом не удостоил. Но, помолчав немного, все-таки не утерпел — взорвался:

— Придурок! А может, на луну слетаем? Второй раз тащиться до Маранеллы и обратно — ты в уме?

— Сам придурок! Я тебе предлагал пешком тащиться? — огрызнулся Альдуччо.

— А на чем? — заинтересовался Плут.

Кудрявый тоже наострил уши.

— Деньжат надо где-нибудь раздобыть, — продолжил свою мысль Альдуччо.

— Ну, голова! — разочарованно протянул Плут.

— Айда! — Альдуччо решительно двинулся к Сан-Джованни и даже не обернулся ни разу.

— Куда этот псих поперся? — недоуменно произнес Плут, но тем не менее последовал за ним вместе с Кудрявым. — Не иначе, сбрендил совсем.

— Не скажи, — качнул головой Кудрявый.

Он уже догадался о намерениях Альдуччо — большого ума тут не надо. Но на пьядца Сан — Джованни их ожидало разочарование: площадь была почти пуста. Правда, на скамейках возле ограды сидело несколько человек, да все не та публика. К примеру, толстуха, чьи тела так и выпирают из белого шелкового платья; губы и грудь у нее обсыпаны крошками от съеденной сладкой булки, а глаза — точь-в-точь как у пареной рыбы. Рядом примостился изрядно подвыпивший чернявый недомерок, муж, наверное; у него глаза тоже как у рыбы, только жареной. Остальные все больше сопляки да горничные. В душный предвечерний час панорама с площади открывалась поистине марсианская, оттого что солнце докрасна раскалило окна и крыши почти слепленных друг с другом небесно — голубых домишек Тусколаны. По другую сторону площади, куда Альдуччо и повел друзей, открывалось не менее унылое зрелище: сады Сан-Джованни с их деревьями и клумбами в последних лучах солнца, покрывшего позолотой галереи, статуи собора и красный гранит обелиска.

Трое приятелей остановились у каменной ограды. Плут забрался на нее, развалился брюхом вверх, подложив руки под пропыленный затылок, и по обыкновению начал распевать. Кудрявый примостился на краешке, свесив ноги. Оба пытались скрыть свое разочарование за небрежностью поз и кривыми ухмылками. Альдуччо же остался стоять — лишь облокотился на стену и выжидательно скрестил ноги. Он единственный из троих не поддавался унынию и с надеждой ожидал развития событий. Одну руку он засунул в карман, имитируя жест помощника шерифа, верхнюю губу, окаймленную черным пушком, выпятил и настороженно поводит вокруг томными глазами, сильно смахивающими на мидии, приправленные лимонным соком.

И его терпение было вознаграждено. Кудрявый и Плут отлучились попить к фонтанчику, а когда, не торопясь, даже оттягивая время, вернулись к ограде, то обнаружили, что Альдуччо уже собрался уходить и вид у него очень довольный.

— Всё, айда, — объявил он и, засунув руку в карман, показал друзьям три смятые сотенные.

— Проходил тут один и дал за просто так, по доброте душевной. Или, может, прицениться хотел? — добавил он с ухмылкой.

Друзья не стали искать иных объяснений: чего в жизни не бывает, — и, горланя что

есть мочи, так чтобы слышала вся площадь, двинулись к трамвайной остановке Сан-Джованни. Через полчаса они уже были на Маранелле.

Со старьевщиком Ремо сначала вышел облом. Дома и в лавке его не оказалось и пришлось друзьям, порасспросив его домашних, топтать в остерию, где он сидел за колченогим столиком — раздувшийся и красный, как рак, будто в жилы ему накачали газ вместо крови — и теребил двумя пальцами бороду цвета соли с перцем. Его соседом по столу был сухонький, точно вяленая треска, старичок с деревенским выговором, сохранившимся несмотря на то, что он прожил в Риме всю жизнь. А с ними сидел еще третий — этого обрисовать трудно, поскольку он спал, уткнувшись носом в столешницу, и казался просто ворохом тряпья. Наметанным глазом Плут с порога обвел помещение и тут же заприметил Ремо.

— Слышь, Ремо, — начал он заговорщицки, — на два слова.

Старьевщик прервал умную беседу со старым хрычом.

— Просим прощенья, господин учитель. Послушаем-ка, чего этот сопляк нам скажет.

Старик изобразил на лице скучающую мину и, двигая кадыком, хлебнул вина. За дверью остерии, на тротуаре, тянущемся вдоль трамвайных путей, ждали Альдуччо и Кудрявый.

— Позволь тебе представить моих друзей, — церемонно произнес Плут и окликнул их.

Кудрявый и Альдуччо вошли и обменялись со старьевщиком сердечным рукопожатием.

— Вот что, Ремо, — перешел Плут к сути дела, — сделай нам одолжение.

— Чем могу? — отозвался тот с насмешливой любезностью.

— Одолжи нам ненадолго свою тележку, а? Ремо не ответил ни “да”, ни “нет”, но, видно, сразу же смекнул, откуда ветер дует, и быстро произвел в уме необходимые подсчеты: к кому приплывет краденое барахло, как не к нему, и кто будет назначать цену, как не он? С улыбкой он вытащил обрывок газеты, поплевал на него, размазал и принялся сворачивать самокрутку, очень аккуратно и неторопливо, чтобы рука не дрожала от тряски, ведь на Маранелле, у перекрестка Аква-Булликанте и Казилины, движение похлеще, чем на виа Венето...

Было одиннадцать — полдвенадцатого, когда Кудрявый и остальные (по очереди один крутил педали тележки, другой развалился в ней кверху брюхом и раскинув ноги по бортам, а третий семеня сзади, положив руку на борт), вконец обессиленные, прибыли на место.

Низко над крышами коттеджей, напоминающих семейные склепы, и над летними “пагодами”, что выстроили себе богачи еще во времена Муссолини (правда, Кудрявый о том не ведал и тогда, когда его еще на свете не было, и теперь), повисла огромная, словно медный таз, луна. Альдуччо с тележкой остался снаружи, а Кудрявый и Плут сквозь дыру в проволочном ограждении проникли во двор мастерских, где росли три полузасохших дерева и портулак, тоже весь сухой и обципаный, и, выпрямившись, позволили себе осмотреться. Плут не обошелся без всегдашнего своего красноречия:

— Металлический рай!

На лицах двух доморощенных гангстеров было написано удовлетворение, смешанное со страхом, как ни хотелось им выказывать лишь легкую профессиональную озабоченность, особенно Плуту, который чувствовал себя главарем.

— Приступим, — деловым тоном объявил он.

И поскольку его сообщник проявлял нерешительность, приняхивался, как пес, прислушивался, нет ли какого необычного шума, Плут на него прикрикнул:

— Ну, чего рот раззявил, давай!

Он подошел к самой многообещающей куче, оглядел ее со всех сторон, взял в руки какую-то железяку, выбросил в круг лунного света и начал, точно призрак, кружить возле других куч. Кудрявый бесшумно следовал за ним, разглядывая открывающиеся ему сокровища. Оставив без внимания кучи брезента, покрышек и прочих малоинтересных вещей, они набрали в глубине двора на клетушку с ценным добром и начали ею растаскивать

— сперва по одному предмету, складывая награбленное у дырки в заборе, потом Кудрявый пролез в дыру, а Плут начал передавать ему драгоценности. Вытащив все, что можно, Плут вылез, и оба что есть духу помчались к пригорку, где оставили тележку. У обоих от натуги вздулись на шее жилы. Альдуччо глазам своим не поверил, увидев такое количество аккумуляторов, бронзовых цепей, железных труб, полуосей и даже свинцовых чушек килограммов по пятьдесят. Он помогал грузить, укладывал все на дно тележки, а Плут и Кудрявый тем временем бегали туда-сюда, подтачивая добычу.

— Сюда еще малость войдет, — прикинул Альдуччо, когда те вернулись с последней ходки.

— Вот это положь, — небрежно бросил Плут, но вдруг насторожился и стал напряженно вглядываться в темноту.

Остальные двое помалкивали и суетились вокруг тележки. К ним шел какой-то тип в белой куртке; при ближайшем рассмотрении он оказался подростком с гладким и пухлым, точно у кошки-копилки, лицом и глазами-щелочками. Увидав перед собой школьника, маменькина сына, Плут мигом осмелел и начал сверлить пришельца глазами.

— Чего выпялился?

— Да ничего, — отозвался тот и прошагал мимо, словно эти реплики в такой час и в такой обстановке были обыкновенным обменом любезностями!

Но Плут уже вошел в раж и выкрикнул толстяку в неестественно прямую спину:

— Ах, ничего? А может, на звезды хочешь посмотреть, жиртрест? Так это я тебе враз устрою!

Тот промолчал. Но когда удалился на порядочное расстояние, вдруг круто обернулся и взвизгнул:

— Ворюги проклятые!

— Донесет! — всполошился Альдуччо.

Плут чуть сдвинул брови.

— Езжай, Альду, жди нас у больницы.

И ринулся в погоню за толстяком. Альдуччо покатил в другую сторону, а Кудрявый только головой крутил, не зная, за кем ему бежать. Толстяк, ясное дело, догадался, что Плут преследует его не затем, чтобы принести свои извинения, и потому как безумный припустил вдоль ограды Порто-Метрония. Тогда Плут отказался от своей затеи и вернулся к все еще стоявшему в растерянности Кудрявому. Вдвоем они устремились за Альдуччо, который так налегал на педали, что даже взмок от напряжения. Опять сменяя друг друга у руля тележки, они добрались до Новой Аппиевой дороги.

— Ох, сил моих нет! — выдохнул Плут и улегся прямо посреди трамвайных путей, широко раскинув ноги и сложив руки на груди, как покойник. — Еще пять шагов — и каюк!

Двое других бросили тележку и тоже повалились на придорожные камни под деревьями.

— Эй, Плут, ты часом не обделался? — кричал Кудрявый, просунув голову меж колес тележки.

Дорога в этот поздний час была пустынна — разве что проедет на мопеде парень, везущий девчонку в Аква-Санту.

При виде проезжающих парочек шпана вопила им вслед:

— Живей наяривай!

Или же:

— Эй, красотка, не верь ему — наплачешься!

Солдат, который проезжал со шлюшкой, уцепившейся ему сзади за штаны, не стерпел и выкрикнул с отчетливым неаполитанским акцентом:

— Хватит духариться!

Трое подскочили, как подхлестнутые, взметнув тучи придорожной пыли.

— Ну ты, мужлан неотесанный, пора бы уж подучиться немного, все-таки в Риме живешь! — крикнул Альдуччо.

— Во-во! — подхватил Кудрявый, сложив руки рупором возле рта. — В Сан-Джованни наведайся, там для таких неучей школа есть!

— У вас в деревне, небось еще под тамтам пляшут! — подлил масла в огонь Плут.

— Ладно, погнали, — сказал, отсмеявшись, Альдуччо. — Всю ночь, что ли, здесь торчать?

Плут встал, раскурил бычок.

— Дай затянуться, — попросил Альдуччо.

Плут неохотно отдал ему окурочок. Альдуччо докурив, взгромоздился на тележку и едва крутанул разок-другой педали, как колеса с диким скрежетом сплющились, угодив меж трамвайных рельсов.

Ну и шут с ним, подумаешь! Благо, до Маранеллы уже рукой подать. К тому же у Кудрявого с Плутом после долгих дневных переходов открылось второе дыхание. Альдуччо же, скрепя сердце, остался возле тележки стеречь добро, которое они вывалили на обочину Новой Аппиевой дороги. Бодрым шагом друзья дошли до Маранеллы и направились напрямиком к старьевщику. Но лавка опять оказалась заперта.

— Чтоб он сдох, бездельник этакий! — послал Плут проклятие по адресу неизвестно куда запропастившегося старьевщика.

— Ишь, чего удумал — так рано закрывать! — поддакнул Кудрявый. — Вот почистим его, тогда узнает!

Время, по правде сказать, уже перевалило за полночь, но друзьям было на это наплевать: они влезли во двор и нахватили там всякой всячины еще на полтележки.

— Прости-прощай, друг Ремо! — притворно вздохнул Плут, несколько не чувствуя угрызений совести.

На Аппиевой дороге, где осталась тележка, не было не только Альдуччо, но и вообще ни одной собаки. Но не успели они дойти до угла виа Камилла, как навстречу им выдвинулась тень. Силуэт все приближался, и наконец перед ними возник тощий старикан из остерии. Он был в обтрепанной шапке и обеими руками сжимал полуось. Завидев ребят, он попытался спрятать ее за спину.

Плут напыжился, как индюк, и немедля приступил к допросу:

— Эй, господин учитель, вы где взяли эту железяку?

Кудрявый занял выжидательную позицию, став сбоку от тележки.

Старикан хитровато усмехнулся, скривив бледную, изможденную физиономию под засаленными ушами шапки.

— Да вот, понимаешь, припрятать хочу. Ночной патруль чуть вашего приятеля не загреб. А я его выручил. Но они поди-ка еще вернутся.

Ври больше, подумал Плут, но на всякий случай обежал окрестности.

Дурака Альдуччо и след простыл. Они заглядывали в подворотни, под навесы, звали:

— Альду. Альду!

Наконец он все-таки вынырнул из какого — то темного проулка.

— Ну что, пронесло? — спросил Кудрявый.

— Почему я знаю? — поежился Альдуччо. — Я сразу ноги в руки — и привет.

Приятели договорились сделать вид, будто верят старику. Тот стоял перед ними, широко расставив ноги, прижимал к груди полуось и улыбался, обнажая беззубые десны.

— Ладно, давай грузить, — решил Кудрявый.

Пока Альдуччо тянул велотачку в тупик, подальше от света, Кудрявый и Плут с помощью старика грузили на нее новый товар. Наконец Кудрявый переглянулся с Плутом, и тот, задумчиво почесав в затылке, изрек:

— Вот что, Альду, ты давай, иди вперед с тележкой, а то мы втроем больно в глаза бросаемся.

Альдуччо это совсем не понравилось, он поворчал, надулся, но все же внял голосу разума и, надрываясь, потащил за собой полную тележку.

Остальные трое последовали за ним на некотором расстоянии, готовые в случае чего

смазать пятки и раствориться в темноте городской окраины. Плут с довольным видом показывал Другу глазами на Альдуччо и шептал:

— Погоняй, быдло!

Кудрявому нравились выходы этого сукина сына, он чувствовал себя его сообщником и посмеивался. Старик едва за ними поспевал, шаркая шлепанцами по тротуару. Под мышкой у него был свернутый мешок, а шлепанцы и шапка придавали ему какой-то озорной, залихватский вид.

— И куда ж ты, дед, намылился с этим мешком? — спросил его Плут, незаметно подмигивая Кудрявому.

— За цветной капусткой. Мне как-никак пять ртов накормить надобно.

— Сыновья? — поинтересовался Плут.

— Дочери.

— Ну? И сколько ж им лет? — давясь от смеха, осведомился Кудрявый.

Плут вдруг зашагал уверенней, словно осел, почуявший запах стойла.

Старик гордо приосанился.

— Первой двадцать, второй восемнадцать, третьей шестнадцать, а две совсем еще пацанки.

Кудрявый с Плутом вновь переглянулись. Пройдя еще немного, Плут ткнул под локоть приятеля и остановился — якобы справиться нужду.

Кудрявый тоже поотстал, а старик уже разогнался и шпарил без оглядки.

— С Альдуччо надо разобраться, — шепнул Плут.

— А как? — удивился Кудрявый.

— Как, сядь да покак! — огрызнулся Плут. — Придумай что-нибудь, ты ж у нас на выдумки хитер.

Кудрявый помолчал, потом, осененный внезапной мыслью, доверительно подмигнул.

— Сделаем! — И, застегнув штаны, бросился догонять маячившую впереди темную тень Альдуччо.

— Только деньги пусть отдаст! — крикнул ему вслед Плут.

— Сделаем! — повторил Кудрявый и растворился в темноте.

А Плут, беззаботно посвистывая, поравнялся со стариком, но краешком глаза все же следил за тем, что делают двое приятелей там впереди, возле недостроенного барака, за которым уже начинались поля Аква-Санты.

По их позам было видно, что они о чем-то спорят. Спустя миг Кудрявый бегом вернулся, Альдуччо же, согнувшись в три погибели, принялся вновь толкать вперед тележку.

— Мы решили, что он и сам до Маранеллы допрет, — пояснил Кудрявый старику. — Вместе нам лучше не светиться.

— Оно и верно, — согласился старик.

Вот и Аква-Санта: направо заброшенные поля и пустыри, налево тянется во тьме виа Аркоди-Травертино. Там и сям домишки — беленькие или розовые, но попадают среди них и полуразвалившиеся бараки, цыганские кибитки без колес, амбары, — то вразброс по лугам, то лепятся к ограде водокачки, в самом что ни на есть живописном беспорядке.

Среди домишек один, прямо у спуска с дороги, выделялся своей пышностью. Над ним красовалась вывеска, накарябанная огромными красными буквами: “Вино”. Из-под двери еще сочилась тонкая полоска света.

— Открыто, — констатировал Плут и многозначительно зыркнул на Кудрявого.

Тот кивнул и запустил руку в карман светло — зеленых штанов.

— А что, господин учитель, очень вы торопитесь за своей цветной капустой? — спросил Плут.

— Да нет, — с готовностью откликнулся тот, — не так чтоб очень.

— Тогда, может, составите нам компанию, если, конечно, вас не затруднит?

— Да я что, я с дорогой душой! — обрадовался старикашка.

Ну еще бы, подумал про себя Плут, а вслух сказал:

— Выпьем по глоточку, а, господин учитель? В полях сыро, не худо и разогреться на дорожку, а после мы вам подсобим.

Тому только того и надо: глазки лукаво заискрились, но для виду он все же поломался немного:

— Да что вы, зачем такое беспокойство? — сказал он и суетливо переложил мешок из левой подмышки в правую.

— Какое беспокойство! — в один голос уверили его друзья и вприпрыжку спустились по откосу дороги.

Старик не мог, конечно, за ними, угнаться, потому Плут у самой остерии выдал очередную прибаутку:

— Тяжело тому живется, кто не легок на подъем!

Спустя считанные минуты двое оборванцев успели порядком нализаться, и разговор пошел на религиозные темы. Старик слушал, но не встревал. Раскрасневшийся Кудрявый задал Плуту заковыристый вопрос, а тот наморщил лоб, дабы не оплошать с ответом.

— Вот ты мне скажи: веришь ты в Марию, которая Богоматерь?

— Почем я знаю? — не растерялся Плут. — Отродясь ее не встречал. — И самодовольно покосился на старика.

— Не богохульствуйте, ребята! — замахал руками старик. — Как же в Деву Марию не верить, коль она скольким уж являлася!

Но Кудрявого особо интересовала одна подробность, и он поделился ею с Плутом, приложив ладонь ко рту и взяв на тон ниже:

— А знаешь, что говорят? Будто она дева, а сына родила.

— Ну да? — Плут раздул красные, потные щеки. — Разве такое бывает?

— Вы что на это скажете, господин учитель? — обратился Кудрявый к старику.

Старик вобрал голову в плечи, лицо у него вытянулось.

— А сам-то ты в это веришь? — промямлил он, уходя от прямого ответа.

Кудрявый принял глубокомысленную позу.

— Так ведь это как взглянуть. Будь она женщиною во плоти, оно, может, и было бы правдой, а с точки зрения святости и невинности никак не выходит. Ну, святость — еще ладно, а вот невинность?.. Нынче, говорят, детей в пробирке стали делать, но женщина, даже если в пробирке ребенка зачнет, девой все одно не останется... В Христа мы, конечно, верим, и в Бога, и во всех святых... Но ежели рассуждать научно, то невинность Богоматери — дело сомнительное. Лично мне кажется, что научно она недоказуема.

Он с торжествующим видом оглядел слушателей, как и всегда, когда повторял последнюю фразу, перенятую у одного умника из Тибуртино. Казалось, он готов всякого, кто осмелится ему перечить, схватить за грудки и душу вытрясти. Плут вцепился обеими руками в край столика и начал пыхтеть, как плотно прикрытая кастрюля с кипящим варевом.

— Я — дирижер! — не к месту объявил он, с трудом сдерживаясь, чтобы не прыснуть.

— Невежа — вот ты кто! — обиженно скривился Кудрявый.

— Возьмем еще пол-литра? — выкрикнул Плут и протянул ему руку. — Ты не против?

Но Кудрявый со всей силы шлепнул по вытянутой ладони.

— Плюнуть бы тебе в глаза, да что с пьяного возьмешь!

Плут развел руками. Лицо у него было красное, как уголья в жаровне.

— Нашел про что рассуждать на голодный желудок — про Иисуса Христа да про Богоматерь! — Потом, пристально взглянул на друга и захохотал. — Зачем тебе молоко, когда всю жизнь пил ты из чистых ручьев и сточных канав?

— Отцепись! — окрысился Кудрявый. — Коли под ногами полно картошки, незачем милостыню кланчить!

Но Плут все сверлил его взглядом и давился от смеха. Его обуяли воспоминания — не терпелось их выложить другу. Сжав кулаки, он потряс ими перед носом у Кудрявого.

— А помнишь, как ты собирал пустые банки и продавал по скудо, помнишь?

Тут и Кудрявый не выдержал — засмеялся. Плута же так и распирало. Он встал на

ноги, чтоб легче было говорить.

— Помнишь, как ходил по родильным домам да по разным приютам — поесть выпрашивал?

— Он согнулся в три погибели и стал копировать жесты Кудрявого. — “Дайте супчику! Дайте супчику!..” Тебе миску нальют, а ты — не будь дурак — тут же ее перепродашь таким же голодранцам!

Тут оба схватились за животы и принялись хохотать как одержимые. Плут даже подпрыгнул от восторга, и Кудрявый вдруг почувствовал, как что-то больно ударило его по ногам и загрохотало на кирпичном полу. Кудрявый опустил глаза и разглядел под столом “беретту”: не иначе, выскочила у Плута из-под ремня. Вот сучонок! — с яростью и восхищением подумал Кудрявый. Наверняка у Башки спер на Вилла-Боргезе! Может, и мои ботиночки к нему припрыгали? Плут быстро нагнулся, поднял пистолет и как ни в чем не бывало сунул за пояс.

Старика тоже порядком развезло: физиономия вытянулась и совсем поглупела. Он сидел и мечтательно щурился на свет загаженной мухами лампы.

— Ты бы хоть дочек нам показал, что ли! Карточки-то поди при тебе? — озорно крикнул Плут, а про себя подумал: как пить дать, страхолюдины, зато, как он бумажник вытащит, расколем его еще на литр и смоемся. Старик с готовностью достал бумажник, неуклюжими пальцами обследовал его, отделение за отделением, и вытащил фотографию девочки, снятой для первого причастия.

— Это она сейчас такая? — спросил Кудрявый, вдруг ощутив какую-то неловкость.

— Нет, нет, сейчас не такая! — забормотал старик и опять начал рыться в бумажнике.

Потом не утерпел и показал свое удостоверение личности. На фотографии он был при параде: в черном костюме с белым воротничком и волосы прилизаны, как у Руди. Бифони Антонио, сын покойного Вирджилио, родился в Ферентино 3.XI. 1896. Еще в бумажнике обнаружили три лиры мелочью, билет коммуниста, два заявления в страховую кассу и свидетельство безработного. Наконец он извлек другие фотографии. Кудрявый и Плут принялись их заинтересованно рассматривать.

— Ты глянь, какие красотки! — выдохнул Кудрявый, подкрепив слова красноречивым жестом.

— Я беру вот эту, — тихонько, чтоб не слышал старик, подхватил Плут. — А ты вон ту возьми.

От остерии до указанного стариком пункта им надо было пройти мимо Порга-Фурба, свернуть на Куадраро и срезать напрямик между домами; там за ними и начинаются огороды, с одной стороны примыкающие к городской бойне, с другой — тянущиеся, насколько хватает глаз, до самого горизонта.

На бойне стояла навозная вонь, смешанная с запахом фенхеля, а в центре двора зачем-то стояли обнесенные ветхим плетнем часы с боем, полностью разбитые, если не считать медного корпуса.

— Вон туда!

Старик оскалился, как голодный волк в предчувствии добычи, скрючился и на цыпочках засеменял вниз, туда, где кончалась покосившаяся изгородь и начинался ряд отдельных неровных балясин. По этим балясинам они и добрались до лесенки: меж нею и балясинами был узкий проем, а вернее, лаз, прикрытый шершавой дранкой и камышом. Старик начал их разгребать, опустившись на колени в промокшие от росы травы: подорожник, портулак, мальву, лебеду. Через эту дырку они наконец проникли в залитый лунным светом огород.

Как ни полон лунный диск, а изгороди на противоположной стороне огорода не разглядеть. Луна уже вскарабкалась высоко в небо, казалось, не хочет больше иметь дела с миром, вся погрузилась в свои небесные дела, а земле показывает задницу; однако же с этой серебристой задницы лился почти дневной свет, озаряя и присыпая белой пылью овощи и сорняки, торчавшие из утрамбованной земли упругими пучками. Слева в тени виднелась

кривая, наполовину утопленная в лебеде сторожка, а вокруг нее простирались золотисто-зеленые заросли латука и порея. Там и сям валялись груды соломы и садовый инструмент, брошенный мужиками: благодатная земля сама о себе заботится, — на кой ее еще обрабатывать?

Но старик явился за цветной капустой и на всякую зелень даже глядеть не стал. В сопровождении юных сообщников, он не теряя времени, устремился по тропке к верному ориентиру — лопате, воткнутой, как палец, в грядку с цветной капустой. Слева и справа от нее проходили точно такие же грядки с огромными, круглыми головками цветной капусты.

— Налетай! — скомандовал старик, держа наизготовку нож, и стал отважно рубить кочаны направо и налево.

Двое подручных остановились, посмотрели на него, потом переглянулись — и ну хохотать. Так разошлись, что их, наверно, было слышно у самого Квадраро.

— А ну тихо! — цыкнул на них старик, выглянув из капустного леса.

Ребята на миг приумолкли. Каждый выбрал себе кочан с краешку, не углубляясь в чашу. За неимением ножей они выдирали капусту из жирной земли вместе с навозом, стеблем и корнем, бросали как попало в стариков мешок, а потом еще утаптывали ногами. А вскоре и вовсе разохотились поиграть кочнами в футбол.

— Цыц, я сказал! — снова прикрикнул старик.

Но Плут и Кудрявый все никак не могли уgomониться — находили себе развлечения с мешком до тех пор, пока старикашка не взвалил его на спину и не побрел, шатаясь от тяжести. Тогда Плут как ни в чем не бывало его окликнул:

— Обождите чуток, синьор, мне бы по нужде сходить.

Не дожидаясь ответа, он расстегнул ремень, спустил штаны и начал с удовольствием облежаться на мокрую траву. Кудрявый и синьор Антонио, раз такое дело, последовали его примеру, присели рядом под большой черешней, подставив луне призрачные зады.

Плут, сделав свое дело, начал распевать. Старик, присевший подле своего мешка, неодобрительно покосился на него и сказал:

— А между прочим, мой племянник за капусту полгода в тюрьме отсидел. И всего-то за один кочан. Хочешь и нас всех туда отправить?

Плут внял голосу рассудка и прикусил язык.

— Господин учитель, — решился спросить старика Кудрявый, благо, ситуация располагала, — а что у дочки вашей жених есть?

Плут опять было ударился в смех, но припомнив, что шуметь нельзя, зажал руками и рот, и нос, как будто от вони. Старик сердито глянул на этого придурка и, насколько позволяла поза, горделиво приосанился.

— Да нет, жениха нету еще.

Потом они с Кудрявым натянули штаны, застегнули ремни и двинулись за Плутом, который уже юркнул в дырку ограждения.

Очутившись на улице, друзья, как люди благородные, естественно не позволили, чтобы старик один надрывался, и стали тащить мешок по очереди, притворяясь, будто им ничуть не тяжело, но про себя ругаясь на чем свет стоит. А синьор Антонио гордо шествовал впереди, довольный, что нашел дурачков себе в носильщики. С трудом доплелись они до Порта-Фурба с ее лачугами, пустырями, стройками и бараками; как только впереди замаячила Боргатадельи-Анджели, что расположена между Торпиньяттарой и Квадраро, старик светским тоном изрек:

— Может, зайдете в гости?

— Ну что вы, что вы! — запротестовали в один голос Плут и Кудрявый, а про себя согласно подумали: еще б ты нас не пригласил, старая сволочь!

Немощные улицы Боргата-дельи-Анджели в этот час были пустынно; над ровными рядами народных домов распростерлось небо, с которого еще не скрылась луна.

Дверь дома, где обитал синьор Антонио, была отворена. Они вошли и стали подниматься: один марш, другой, третий, бесчисленные ступеньки, двери, окошки,

выходившие во внутренний дворик, — все обшарпанное, на стенах углем намалеваны похабные картинки. Старик позвонил в звонок семьдесят третьей квартиры, а друзья встали позади, как два адъютанта. Спустя некоторое время им открыла старшая дочь старика.

Смазливой девице на вид было лет двадцать; из глубокого выреза короткой ночной рубашки вылезают округлые груди, волосы растрепаны, глаза припухли со сна. Завидя гостей, она спешно юркнула за драную ширму, стоявшую посреди прихожей.

Синьор Антонио вошел, прислонил мешок к ширме и громко позвал:

— На-адя!

На зов никто не откликнулся, но из-за стенки послышалось женское шушуканье в три или четыре голоса.

И верно, подумал Кудрявый, их там у него целое племя.

— Надя! — повторил еще громче синьор Антонио.

Шушуканье тоже усилилось, потом опять появилась старшая дочь, в той же обтягивающей рубашонке, но уже в туфлях, и причесанная.

— Знакомься, мои друзья, — представил старик.

Надя подошла, робко улыбаясь, одной рукой прикрывая грудь, другую протягивая им. Пальчики тоненькие, беленькие и нежные, как масло, — у друзей аж дух перехватило.

— Клаудио Мастракка, — отрекомендовался Кудрявый, пожимая теплую ладошку.

— Альфредо Де Марци, — рявкнул Плут, покраснев и возбужденно блестя глазами.

Девушка была смущена до слез. Минуты две они все топтались в прихожей и молча глядели друг на друга.

— Прошу, — пригласил наконец синьор Антонио и отдернул занавеску, прикрывавшую вход в кухню.

Там, между плитой, буфетом и четырьмя табуретками каким-то чудом поместилась койка, на которой спали валетом две раздумявшиеся во сне девчонки, завернувшись в латанные — перелатанные, серые от стирки простыни. Кухонный стол был заставлен грязной посудой. Разбуженная светом стая мух взметнулась, закружилась, зажужжала, будто в жаркий полдень.

Надя вошла последней и, скромно потупясь, остановилась у двери.

— Грязи-то развезли! — заметил старик. — В этом доме одна работница другой лучше!

— Поглядел бы ты, что у нас делается! хохотнул Плут, подбадривая старика, как будто они были сверстники.

Кудрявый понимающе улыбнулся. Тогда Плут продолжал с присущим ему сарказмом, как будто ораторствовал в баре “Кинжал”:

— В кухне у нас настоящий срач, а в спальню только свиней пускать!

При этих словах синьор Антонио неожиданно выскочил в переднюю, приволок оттуда мешок с цветной капустой и с довольным видом затолкал его под раковину.

— Я бы до Рождества такую кучу не перетаскал, — объяснил он дочери. — Спасибо, ребята подсобили.

Надина улыбка мгновенно померкла, подбородок задрожал, и девушка отвернулась к стене, чтобы скрыть набежавшие слезы.

— Ну вот еще! — добродушно пожурил ее Плут. — Есть из-за чего плакать!

Но та словно только и ожидала этой фразы, чтобы разразиться горькими рыданиями. В мгновение ока вскочила и скрылась за ширмой.

— Дура ненормальная! — послышался оттуда другой женский голос.

— То жена моя, — сообщил синьор Антонио.

Через минуту на кухне появилась хозяйка дома, синьора Адриана, тоже в ночной рубашке, но тщательно причесанная, из пучка на затылке торчали шпильки, а груди выпирали из рубашки, как кочаны из мешка.

А мать-то еще получше дочек будет, отметил про себя Кудрявый. Женщина ворвалась на кухню, бурля гневом и продолжая начатый за ширмой монолог:

— Я говорю, дура ненормальная! Нашла из — за чего слезы лить, видали такую?

Жить-то надо, правда? Времена нынче тяжелые. И чего ей не хватает, этой дурехе, уж и не знаю!

Она умолкла, немного успокоилась и остановила взгляд на двух оборванцах, которые изволили пожаловать к ней в гости.

— Знакомься, мои друзья, — повторил старик.

— Очень приятно. — Женщина чуть сдвинула брови: должно быть, ей с трудом давался светский тон.

— Клаудио Мастракка, — привстал Кудрявый.

— Альфредо Де Марци, — вторил ему Плут.

Закончив ритуал знакомства, хозяйка вернулась к взволновавшей ее теме:

— Вы видали, чтоб двадцатилетняя дылда ревела, как соплячка? Да из-за чего? Из-за какой-то цветной капусты! — Она гневно вскинула голову, подбоченилась, сверкнула глазами, как будто бросая вызов мужской аудитории, и тут же повернулась к двери. — Надя!.. Слышь, Надя!

От ее криков проснулись спавшие валетом девчонки и с любопытством уставились на пришедших. Надя вернулась, все еще робея и утирая ладонью влажные глаза. Она смущенно улыбнулась гостям, как бы извиняясь за свое глупое поведение и прося не обращать на нее внимания.

— Дура! — повторила мать все тем же вызывающим тоном. — Есть чего стыдиться!

— А мы, что ль, не ворует? — снова попытался разрядить обстановку деликатный Плут. — Еще как ворует! У нас ведь тоже работы нету!

— Ничего удивительного, — подхватил Кудрявый. — Все воруют — кто больше, кто меньше.

От таких утешений бедная девушка чуть было снова не ударилась в слезы. Но, к счастью, в этот момент вошла другая сестра, лет восемнадцати. Она принарядилась ради гостей — надела хорошее платье из черного шелка, даже губы подкрасила и теперь явно рассчитывала сразить всех своим появлением.

— Познакомься с моими друзьями, — в третий раз завел церемонии старик. — Славные ребята... А это моя вторая дочь.

— Лючан-на! — протянула та, вытягивая губки, как девушка с обложки журнала.

— Клаудио Мастракка.

— Альфредо Де Марци.

— Оч-чень приятно, — пропела Лючана, отбрасывая со лба волосы.

— И нам! — в один голос гаркнули Кудрявый с Плутом и приосанились как петухи.

Немного погодя явилась третья дочь, вся прыщавая, волосы завязаны лентой. Она постеснялась входить на кухню и уставилась на гостей с порога.

Да, эта третья была совсем еще соплячка; из — под чистенькой, в цветочек рубашки выглядывали ножки-палочки. Мать, окинув ее взглядом, продолжила свой всем уже порядком надоевший монолог. Говорила она с такой глубокой убежденностью, что хоть сейчас на трибуну.

— Вы совершенно правы, синьора, — горячо поддержал ее Плут, когда она умолкла. — Это в порядке вещей!

Однако источник его горячности заключался не в правоте хозяйкиных слов, а в той молочной ферме, что маячила у него перед глазами.

— Чем бы вас угостить? — сменил тему синьор Антонио. — Может, кофе выпьете?

— Да не хлопчите, синьор Антонио! — застеснялся Кудрявый.

Плут же при упоминании о кофе заметно оживился.

— К чему такое беспокойство? — добавил Кудрявый и вдруг озорно улыбнулся, словно бы подшучивая над собой и своим приятелем, таким же голодным оборванцем.

Синьор Антонио сделал вид, что не заметил, как переглянулись при слове “кофе” мать, старшие и даже младшие дочери. Он, видно, вошел в роль гостеприимного хозяина и продолжал настаивать:

— Да какое беспокойство, для меня это удовольствие одно!

Во взглядах домочадцев отразилось истинное смятение. Синьора Адриана открыла было рот, да так и закрыла, ничего не выговорив. Дочери старались сохранять невозмутимость, но невольно поглядывали на нее с тревогой.

— Сделайте-ка быстро нам по чашечке кофе, — распорядился синьор Антонио.

Мать не двинулась с места и продолжала переглядываться с дочерьми. У Нади снова задрожал подбородок. Лючана выдавила из себя смущенную улыбку и отбросила назад разметавшиеся по плечам волосы. Синьора Адриана тоже быстро затрясла головой и, приложив руку к груди, вымолвила:

— Сделать-то я сделаю, да только... я хотела тебе сказать... мы сахару купить забыли.

Синьор Антонио негодуя уставился на нее.

— Уж извини, Антонио, дорогой, — оправдывалась жена, — у меня столько забот — прямо ничего в голове не держится.

— Ну ладно! — воскликнул Кудрявый, не утратив своей насмешливой жизнерадостности. — Нам с другом и без сахару сойдет, мы люди не гордые!

Плут затрясся от смеха и согласно закивал. Но женская часть семейства Бифони при этом еще больше опечалилась. Наконец синьора Адриана выпалила:

— Что ж, мне сварить не трудно!

Она подошла к плите и зажгла конфорку. Старшие дочери захлопотали, младшие, окончательно пробудившись, вылезли из-под простыней и принялись носиться по кухне, а синьор Антонио продолжил приятную беседу с новыми друзьями.

Кофе был подан Кудрявому и Плуту в двух чашечках от разных сервизов; синьор Антонио и его супруга пили из глиняных оббитых кружек.

Дуя на кофе, чтобы остудить. Кудрявый объявил:

— Сейчас выпьем и пойдем, а то и так уж много хлопот вам доставили.

— Да какие там хлопоты! — великодушно отозвался синьор Антонио.

Синьора Адриана, прихлебывая кофе, не скрывала своего отвращения, которое втайне разделяли двое друзей, хотя и старались не подавать виду.

Это надо, помои какие! — думали они про себя. И, допив, с облегчением поставили чашки на стол, чтобы их тут же облепили мухи.

— Ну, нам пора, — сказал Кудрявый.

— Как, уже? — удивился синьор Антонио, как будто три часа ночи — самое время для приема гостей.

— А то как же! — подал голос Плут. — Скоро уж солнце взойдет.

— Ну посидите еще немного! — уговаривал старик.

Но Кудрявый решительно протянул старику руку.

— Спасибо за все, синьор Антонио.

— Тогда я вас провожу.

Длинный, как жердь, нескладный, он прошаркал к порогу и остановился там, ожидая, пока гости распрощаются с синьорой Адрианой, Надей, Лючаной, а также с третьей сестрой, которая молчала все время, как рыба, и только глаза тарачила. Покончив с церемонией прощания, женщины — раз уж их все равно разбудили — без промедления занялись домашними делами.

Синьор Антонио бесшумно спустился по лестнице в своих опорках. Внезапно Кудрявый, шагавший сзади, ткнул локтем Плути. Тот поднял на него глаза.

— Деньги давай, — произнес он тихо и грозно, видимо, опасаясь, что тот пошлет его куда подальше.

Плут помрачнел и притворился тугим на ухо.

— Не крути! — Кудрявый еще понизил голос и впился в приятеля свирепым взглядом. — Выкладывай деньги, я сказал!

Плуту ничего не оставалось, как вытащить из кармана деньги. Они спустились по лестнице обшарпанного подъезда. Старик отворил дверь. На улице начинало светать. За

рядами бетонных коробок Боргата-дельи-Анджели, за Куадраро, за пригородами, за сумрачными контурами холмов Альбани уже брезжил дымчаторозовый рассвет, и казалось, где-то там, на другом краю небосклона разгорается безмолвным пожаром двойник Рима.

— Ну пока, ребятишки, — прошамкал синьор Антонио. — Пойду-ка я спать.

— Ступайте, синьор, — согласно закивал Плут.

— Простите, что столько вам беспокойства доставили.

Старик усмехнулся и задвигал челюстями, как будто пережевывал окаменевшие каштаны.

— Вот, господин учитель, это вам, возьмите — выпалил Кудрявый, протягивая старику скомканные полторы сотни.

Синьор Антонио внимательно поглядел на деньги.

— Ну что вы, что вы, еще не хватало! — запротестовал он, впрочем, без особой уверенности.

— Берите, берите! — настаивал Плут.

Старик еще немного поломался и уступил.

— Ты гляди, и вправду солнце встает! — удивился Плут, когда за стариком закрылась дверь и они остались одни во всем квартале.

Лиловатые отблески — отражение того далекого, почти невидимого пожара за холмами — легли меж домов. То из-под одного, то из-под другого карниза, пища, вылетали совы.

Плут надолго замолчал, поглощенный мыслями о своей доброте, о семействе Бифони и вообще о жизни и смерти. Чувствуя, как колени подгибаются от усталости, он еще какое-то время пребывал в задумчивости, будто готовясь к решительному шагу, потом вдруг подогнул колено к животу и выпустил газы. Но вышло это как-то вымученно, не от души.

В барах “Кинжал” и “Зеленый ковер” играл в бильярд весь сброд Маранеллы. Множество зрителей следило за игрой, устало подпирая стенки тесного помещения с таким низким потолком, что, если поднять руку, аккуратно до него достанешь. Можно только порадоваться за того умельца, который умудрился втиснуть в эту клетушку бильярдный стол.

Среди множества обсуждаемых тем было жениховство Кудрявого. Ему нравилось, что все принимают это событие всерьез, хотя по большому счету всем присутствующим глубоко наплевать и на него, и на его невесту. Однако он, как лицо заинтересованное, все же счел своим долгом, раз такое дело, обзавестись парой новых штанов. В ответ на добродушные подначки, он лишь загадочно ухмылялся: дескать, что бы вы там ни говорили, а штаны — мое личное дело. И гордо прохаживался, демонстрируя всем свое приобретение. Штаны были серые, широкие, с прорезными карманами, он заложил туда руки и ходил, подавшись вперед корпусом, засунув под ремень большие пальцы и намеренно шаркая ногами, — то есть изо всех сил изображал походку настоящего мужчины. Как все брюки такого покроя, они собирались складками вокруг ширинки, а при ходьбе издавали звуки выхлопной трубы. Когда же Кудрявый останавливался, привалившись к стене, или небрежно опирался на край бильярда, между штанин намечалась внушительная вмятина. Если не считать обнови, жизнь его ничуть не изменилась: он по-прежнему ночевал с Плутом на пустыре Боргата-Гордиани, хотя сознавал, что с таким житьем пора кончать, поскольку оно не соответствует его новому статусу без пяти минут семейного человека.

Плут присмотрел одно местечко на виа Таранто, на последнем этаже восьмиэтажного дома. Там, на лестничной площадке справа была никогда не запиравшаяся дверь какой-то кладовки, и за ней стояли корыта, полные воды, а слева находилась необитаемая квартира: ее — то дверь как раз была на запоре уже несколько месяцев. Вот эту лестничную площадку они с Кудрявым и облюбовали себе под спальню: притащили наверх кипу газет и ночью ими укрывались, а днем прятали под корыта в кладовке.

Кудрявому очень нравилось разыгрывать роль солидного человека, особенно перед завсегдатаями бара “Кинжал”, которые, к его удивлению и удовольствию, стали о нем отзываться с уважением. Лиха беда начало — он нашел себе работу на посылках у торговца

рыбой, что торговал на рынке Маранеллы. И даже по воскресеньям не желал выходить из роли: решительно отклонял предложения Плути и прочих дружков прошвырнуться в центр и вместо этого водил невесту в кино. Хотя про невесту доброго слова не скажешь. Ладно бы, выбрал из дочерей синьора Антонио двадцатилетнюю Надю или восемнадцатилетнюю Лючану, так нет — связался с прыщавой соплячкой, что в ту ночь все пряталась за занавеской и ни звука не проронила. Когда Кудрявый проводил с ней время и не удавалось ее потискать (а удавалось это крайне редко, потому что уединиться было негде, да молодые не особенно и стремились к этому), его одолевала смертная скука. В конце концов он обязательно находил, к чему прицепиться, чтоб надавать ей оплеух. А в глубине души только и мечтал о том, как бы улизнуть поскорее в бар, к Плуту и закадычной шпане. Но являлся туда гоголем: дескать все жизненные проблемы решены, больше и желать нечего.

Словом, Кудрявый упорно делал вид, будто взялся за ум, остепенился, и теперь его нечего ровнять со всякой швалью. Но фасон фасоном, а ежели намечается какой шабаш или кража, тут без Кудрявого не обойтись. Так, неплохо они поживились за счет хозяина бара, добрейшего человека, который поутру, наводя в заведении порядок, поливал отборной бранью эту шпану. Что взять с эдакого сброда, когда и Плут, и многие другие из его компании уже не раз побывали в Порте-Портезе и не на словах изучили все методы “современного” образования? У них к тому же вырос большой зуб на сестру хозяина, которая грубо с ними обходилась. Как не отомстить за поруганную гордость, тем более что это благовидный предлог для всяческих бесчинств, как не послать куда подальше стерву сестрицу... С другой стороны, жить на ту жалкую мелочь, что Кудрявый зарабатывал у рыборотговца, ни один порядочный человек не сможет. Поэтому, если что плохо лежало, он крал: во-первых голод — не тетка, во-вторых, невесте давно пора колечко справить... И они с Плутом опять замыслили крупный налет на те же мастерские, где в прошлый раз натырили железяк, сбыли их старьевщику и целый месяц жили припеваючи.

На дело отправились вчетвером: Кудрявый, Плут, Альдуччо и еще один — Лелло, завсегдатай бара “Кинжал”. Ну и, само собой, тележку прихватили.

Как только пришли на место, вдруг задул ветер и под аккомпанемент железнодорожных проводов, на которых наигрывал, как на гитарных струнах, осыпал разбойников клубами белесой пыли и мусора. В мгновение ока все стало белым, кроме неба, — оно, наоборот, стало черным. На этом адово-черном фоне бело-розовые фасады Казилины казались конфетными обертками. Потом свет померк, все окуталось промозглой мглой, а ветер, будто мало ему было этой тьмы, продолжал набивать глаза удушливой пылью.

Четверка укрылась под портиком как раз вовремя, чтобы ее не окатил ливень. Раскаты грома были такие, будто в огромный бидон сложили все купола Святого Петра и трясут этот бидон где-то между небом и землей; эхо разносится на несколько километров окрест, до самого Куадраро или Сан-Лоренцо, а то и дальше — быть может, до тех мест, где еще голубеет небо и чирикают воробы.

Через полчаса дождь кончился, и продрогшая до костей четверка добралась наконец до Порте-Метрония. Небо все еще было затянуто темной завесой, будто скрывающей что-то страшное; то и дело ее взрезали красные зарницы. Вечер наступил часа за два до срока, с деревьев капало. В такую погоду хозяин собаку из дома не выгонит. Друзья распределили обязанности: Кудрявому досталось стоять на атаке с тележкой. Остальные прошмыгнули внутрь и, забравшись в склад, еще раз кинули на пальцах, кому первому идти с мешком. Жребий пал на Лелло. Дрожа как осиновый лист, он вошел и доверху набил мешок полуосями, сверлами и прочим ломом. А потом тихонько окликнул Альдуччо и Плути, чтобы помогли тащить мешок — благо, самая опасная часть работы уже сделана. Но те не отозвались. Лелло выглянул, а их и след простыл. Тогда он побежал к Кудрявому спросить, куда те подевались. Кудрявый только плечами пожал. Тогда Лелло вернулся на склад, прихватив тележку: раз так, он и сам справится. Кудрявый видел, как он появился вновь с нагруженной тележкой, но тут — откуда ни возьмись — сторож.

Тем временем Плут и Альдуччо наведались в другое складское помещение, что за свалкой, — с улицы его не видно, — и теперь тоже выходили с богатой добычей. Что в их мешке — Кудрявый не разобрал, но по форме железяки напоминали головки сыра. Очутившись во дворе склада, они издали увидели, что Лелло изо всех сил отбивается от сторожа, но безрезультатно. Спеша ему на выручку, они забыли про “сырный” мешок и набросились на сторожа. А тот стал звать на помощь. Не сговариваясь, злоумышленники приняли разумное решение сделать ноги, но им не повезло: нарвались на хозяина плавильни и его подручных. Только Альдуччо сумел улизнуть, но выходить на улицу, где невозмутимо выхаживал Кудрявый, побоялся: перед воротами уже начал собираться народ. Альдуччо побежал дальше вдоль ограды, к маленьким воротам, вскарабкался на них, но тут нога соскользнула по влажной перекладине и застряла меж прутьев. С грехом пополам, когда Кудрявый подоспел ему на помощь, он изловчился перелезть на другую сторону. Трое преследователей, увидав, что он поранился, отстали: кому охота в крови пачкаться? Кудрявый подхватил Альдуччо под руку, и они поплелись по Археологическому проходу. Выбрав местечко потемнее, перевязали рану обрывком майки. Потом двинулись дальше, сели на подножку кольцевого трамвая и доехали до Понте-Ротто. Здесь, у входа в больницу Фатенефрателли, Кудрявый оставил Альдуччо.

Опять зарядил дождь, на небе громыхало. Кудрявый брел по мокрым, темным улицам и думал то об Альдуччо в больнице, то о двоих в камере. Рассуждая здраво, если их станут угощать оплеухами или мутузить мешками с песком, они как пить дать расколуются, поэтому Кудрявый приготовился бродить всю ночь.

Светало. Над крышами домов клубились гонимые ветром облака; там, наверху, он, должно быть, гулял вольно, как в начале мира, а внизу мог разве что поиграть обрывком афиши на стене да пошуршать о тротуар или о трамвайные рельсы брошенной бумажкой.

Когда перед тобой расступаются дома на площадях и перекрестках или когда выйдешь на пустырь, где должно начаться строительство, но пока ничего еще нет, кроме сваленной в кучу арматуры да чахлах пучков травы, — в этих просветах можно увидеть все небо, испещренное тысячами облачков, маленьких, как пустулы. Облачка самых разных цветов и конфигураций: черные ракушки, желтоватые гребешки, синие бородки, красные плевочки, — спускаются вниз с невидимых остроконечных вершин многоэтажек на горизонте; не иначе, от лазурной и прозрачной полярной земли, посылает их огромная, холодная, белая туча, вся в завитках, похожая на чистилище.

Бледный, изможденный, едва-едва передвигая ноги, тащился Кудрявый на виа Таранто, где по утрам разворачивается небольшой рынок. Он проголодался, как собака, его пошатывало, и он уже не отдавал себе отчета, куда и зачем идет. Виа Таранто совсем рядом, но что ему там делать?.. Но когда наконец вышел на виа Таранто, она была пуста, как минное поле: жалюзи закрыты, темные фасады, вздымаются к небу, расчерченному многоцветьем фейерверка. Утренний ветерок выбеливает щеки, подсинивает носы, так что они становятся похожи на фенхель, время от времени встряхивает чахлые Деревья, погруженные в дрему на обочине улицы и вместе с фасадами тянущиеся к студеному небу. Но там, где прежде был рынок, на перекрестке с виа Монца, ни одного лотка-прилавка не осталось. Ни обрывка бумаги на земле, ни кочерыжки, ни скорлупки, ни раздавленного чесночного зубчика, — будто никогда и не было тут рынка, будто и не должно было быть.

— Ну и хрен с вами! — процедил Кудрявый и еще глубже засунул руки в карманы, так что ширинка свисала до колен. — Чтоб вы сдохли все!.. — добавил он сквозь стиснутые зубы, боясь от ярости сорваться на крик, и воровато огляделся. — Да и кто меня тут услышит?.. А хоть бы и услышали, мне начхать!

От холода он дрожал, как заячий хвост. Фонари еще не погасли, но как-то разом потускнели; лившийся с неба свет стал блеклым и лепился ближе к стенам. Все — от привратников до служащих, от горничных до больших начальников — преспокойно спят за разноцветными жалюзи. Но вдруг в глубине улицы взвизгнули тормоза, да так резко, что их, наверно, было слышно у Сан-Джованни; а потом послышались звуки ударов, эхом

огласивших весь рассветный квартал. Кудрявый неторопливо двинулся в ту сторону и вышел на пьядца Ре-ди-Рома. Именно оттуда и доносился весь этот грохот. За деревьями, на мокрых черных клумбах, возле пустых скамеек остановился мусоровоз, и перед ним на тротуаре выстроился десяток бидонов, вокруг которых, закатав рукава и грязно ругаясь, толпились дворники. Вылез вихрастый водитель, прислонился к бамперу и — руки в брюки — слушал, о чем они толкуют. Губы его дрогнули в усмешке; в общем и целом ему было наплевать на эту дискуссию, но приятно передохнуть немного и послушать, что в мире делается.

— Чего ж ты его не позвал, выблядка этого? — вдруг сказал он свое веское слово, обернувшись к какому-то пареньку.

Тот порозовел, но ответил невозмутимо:

— Как не позвал — я его сто раз звал!

— Ну тогда, дети мои, что я могу вам сказать?.. — Водитель развел руками и повернулся к другим дворникам. — Сами думайте. — С этими словами он снова залез в кабину, развалился на сиденье и высунул ноги в окошко.

Дворники думали недолго: ну и ладно, не подали бак — вывалят мусор прямо в грузовик. Особенно ликовал один, чумазый как цыган, с приплюснутой мордой. Мало ли в Боргата-Гордиани и в Квадраро полуголодной шпаны, черт бы ее побрал, которая будет счастлива порыться в мусоре? Только свистни — в три часа утра встанут и за дворников всю работу сделают. Ведь им, беднягам, тоже поди несладко приходится — о том же свидетельствовали разгоревшиеся глаза Кудрявого, он уже и руки из карманов вытащил.

Беззубый дворник с черной как смоль бородой на фоне побелевшего от стужи лица и глазами Иисусика, в которых, несмотря на столь ранний час, уже появился пьяный блеск, ухмыльнувшись, сказал ему:

— Давай, парень, шуруй, от нас не убудет. Пользуйся, пока мы хорошие, тут есть чем поживиться.

Кудрявый не заставил себя упрашивать, схватил шест и с еще одним подоспевшим оборванцем начал вкатывать бидоны в грузовик и опорожнять их.

Тем временем мрак неба стал серым, будто чернила водой разбавили, сперва обесцветился, потом быстро вобрал в себя гарь и копоть. Белое со стальными проблесками облако рассеивалось, — обрывки его таяли, как снег в грязи. Поутру ветер еще больше разгулялся, напоминая о том, что лету конец.

Три часа Кудрявый с парнем из Боргата — Гордиани выгружал бидоны с мусором, рискуя заработать чахотку от обступавших его миазмов. Уже высыпали на улицу первые служанки с пустыми кошелками, уже слышался визг и скрежет трамваев на поворотах; из богатого квартала вырулил грузовик, направляясь в сторону Казилины и обдавая свежей вонью бедняцкие бараки. Вот он уже танцует самбу на ухабистых улицах с тротуарами, больше похожими на сточные канавы, меж огромных старых виадуков, оград, лесов,строек, лачуг, прет наперерез трамваям, с чьих подножек гроздьями свисают рабочие, и по Страда-Бьянка, между Казилиной и Пренестиной, добирается до первых домов Боргата-Гордиани. Вид у него неприступный, как у концлагеря, что вырос среди голой степи, исхлестанной солнцем и ветрами.

Не доежая предместья, грузовик остановился на дороге, по обе стороны которой тянулись поля, усеянные вместо зерна отбросами, заросшие сорняками. Чуть впереди раскинулся сад со старыми деревьями — их небось лет двадцать не подрезали — и кособокой сторожкой. Придорожные канавы были полны грязной воды, а по траве и по голой земле уныло бродили грязные гуси. За сторожкой поля, уже не имевшие права именоваться пшеничными, переходили в общипанные овраги; их склоны тоже когда-то были полями, а теперь там все траву подъели стада овец, которых частенько перегоняли этой дорогой из Сабины или Абруцц. Дорога кончилась, дальше пошел сплошной песок, и грузовик остановился.

— Слезай, приехали! — приказал водитель, развернув машину у самого края обрыва.

Кудрявый с напарником откинули задний борт, и куча мусора посыпалась по скату.

Ловко орудуя лопатами, парни подгребли остатки гнилых слив и помидоров, после чего водитель завел мотор и умчался.

Новоиспеченные мусорщики остались одни среди вонищи. Внизу чернел окруженный со всех сторон полями овраг. Кудрявый встал у подножия кучи, его напарник вскарабкался наверх, и оба принялись рыться в отбросах.

Второй парень был поопытней: согнулся в три погибели, прищурился, как будто выполнял тонкую работу. А Кудрявый старался ему подражать, но ему было противно шарить голыми руками в этом дерьме. Он отломил ветку росшей неподалеку старой смоковницы и начал раскидывать ею грязные бумажки, огрызки, коробочки из-под лекарств, объедки и прочую гниль. Медленно тянулось время, небо над Боргата-Гордиани как будто прояснилось, и к девяти утра солнце уже всюду било по согбленным спинам наших трудяг. Кудрявый взмок от пота, в глазах муть и какие-то странные красно-зеленые полосы — должно быть, от голода.

— Да провались оно все к едрене матери! — выругался он и с яростью сплюнул; потом поднялся на ноги и, дав прощальный залп газов, гордо удалился. Напарник даже головы не поднял.

Пошатываясь от усталости, Кудрявый вышел на Страда-Бьянка, поглядел на небо, которое опять начало затягиваться тучами, едва сдерживая бешенство, добрал до Казилины. Там дождался трамвая, вскочил на подножку и после получаса езды снова очутился на виа Таранто. Рынок уже работал. Как бродячая собака, кружил Кудрявый между рядами, принохиваясь к смешению тысячи аппетитных, подогретых солнцем запахов, глядел на лотки с фруктами, даже исхитрился стянуть несколько персиков и яблок и забежал в переулок их съесть. Но это лишь взбудоражило аппетит. Теперь его магнитом тянуло к белым сырным прилавкам, которые разместились в начале переулка, на грязной площадке с фонтанчиком в центре. До чего же вкусно пахнут все эти моццареллы и проволони,³ изящно нарезанные эмменталь и пармезан, не говоря уж об овечьем сыре! Среди больших головок угнездились кусочки граммов по сто пятьдесят и даже меньше. У Кудрявого перехватило дыхание. Как безумец, он впился глазами в ломоть желтоватой грувьеры, затем подошел к напускным равнодушием и, улучив момент, когда торговец увлекся беседой с толстой, как епископ, домохозяйкой, которая с брезгливым видом разглядывала выставленные сыры, молниеносным движением ухватил облюбованный кусок и сунул в карман. Но хозяин заметил и взял с прилавка зубчатый нож.

— Одну минутку, синьора. — Он вышел из-за прилавка и сграбастал Кудрявого за шиворот.

Кудрявый поглядел на него с недоумением: чего, мол, прицепился? От этакой наглости оскорбленный в лучших чувствах торговец взбеленился и вкатил ему такую затрещину, что у Кудрявого шум в голове пошел. Чуть отдышавшись, он сложился пополам и боднул торговца головой в брюхо. Тот слегка пошатнулся и вовсе рассвирепел. А поскольку был он вдвое здоровее Кудрявого, то неизвестно, чем бы дело кончилось! Не подоспей другие торговцы и не растащи дерущихся, скорей всего, пришлось бы парню отлеживаться в больнице. Торговец сыром, на чьей стороне был перевес и в силе, и в правоте, взял себя в руки и спокойно сказал:

— Пустите меня, ребята, пустите, ничего я ему не сделаю. Что я, душегуб какой?

Кудрявый харкая кровью, озверело рвался из удерживающих его рук.

— Отдай сыр и покончим с этим, — примирительно обратился к нему торговец.

— Ну, живо! — скомандовал торговец рыбой, подскочивший одним из первых.

Глотая слезы вместе с кровью из разбитых десен и с мечтами о мщении, Кудрявый вытащил из кармана ломоть грувьеры и протянул своему обидчику. Толпа мигом рассосалась — случай-то пустяковый, — и Кудрявый как ни в чем не бывало затесался в суতোлке среди

³ Сорты итальянских сыров.

прилавков с помидорами и баклажанами, над которыми голосили, надрывая утробу, жизнерадостные торговцы. Он двинулся по виа Таранто, добрал до дома, где теперь обретался, не без труда одолел четыреста ступенек до чердака. От слабости его не держали ноги. Он увидел, что обычно закрытая дверь пустой квартиры, открыта и хлопает на сквозняке, но не придал этому значения. Пошатываясь на ватных ногах, передвигая их словно под водой, он выудил из кармана бечевку, пропустил через ручку двери и подвязал ее покрепче. Потом вытянулся на полу и уже через секунду спал. Не прошло и получаса (за это время привратница успела позвонить, и нужные лица прибыли), как его разбудили пинками. Кудрявый разлепил глаза и увидел над собой двоих полицейских. Оказывается, ночью соседнюю квартиру обчистили — вот почему дверь была открыта. Беднягу оторвали от приятных сновидений (то ли в ресторане обедал, то ли на всамделишной кровати спал), подняли и потащили к лестнице. “Чего это я им зандобился? — спрашивал он себя, еще не до конца очухавшись. — Вот ведь!”

Его приволокли в Порта-Портезе и навесили без малого три года. Ему предстояло сидеть за решеткой до весны пятидесятого!

6. Купание в Аньене

*Эй, Косокрыл, и ты, Старик, в поход! -
Он начал говорить. — И ты, Собака;
А Борода десятником пойдет.
В придачу к ним Дракон и Забияка,
Клыкастый Боров и Собачий Зуд,
Да Рыжик лютый, да еще Кривляка.
Данте, Ад⁴*

— Есть хочу до усрачки! — громогласно заявил Задира.

Потом сорвал с себя майку, вытянулся во весь рост на фоне крутого, поросшего грязной травой и почернелыми кустами берега Аньене и расстегнул штаны.

— Ты что — прямо тут ссать?! — удивился Сырок, сидевший чуть ниже по склону.

— А где мне ссать — на виа Аренула?

Сырок ухмыльнулся (за прошедшие три года он возмужал и раздобрел).

— Искупаемся — и в кино.

— А деньги где возьмешь? — поинтересовался Альдуччо.

— Не твоя печаль, — ответил Сырок.

— Окурков, что ль, вчера насобирал? — предположил Альдуччо, уже стоя по щиколотку в воде.

— А пошел бы ты! — бросил ему Сырок, туго перетягивая ремнем одежду.

Он запрягал узелок среди пыльных кустов и на цыпочках побежал по откосу в поле, где недавно убрали хлеб, а теперь паслись лошади. Здесь большой компанией устроились на земле в чем мать родила недомерки.

— Привет беспорточникам! — окликнул их Сырок.

— Привет мудозвону! — не растерялся Сопляк.

— Ах ты, сукин сын! — рассвирепел Сырок и протянул руку, чтобы схватить парня за вихры.

Но тот ловко увернулся и отскочил в сторону. Сказать по чести, тут не только малышня, но и парни постарше, скажем, Задира и Сверчок, щеголяли без штанов. А Сырок чувствовал свое превосходство, потому что нынче утром стянул у племянника трусы и подогнал их на себя, пришив по бокам тесемки.

— Ишь, вырядился! — со смехом проорал Задира и, не дожидаясь ответа, нырнул в

⁴ Перевод М. Лозинского.

темные воды реки, что катилась под солнцем меж берегов, поросших камышом и кустарником.

Другая шайка, поныряв около землечерпалки, возвращалась обратно на тростниковых плотках.

— Айда на тот берег! — крикнул Альдуччо и скрылся под водой.

Все кинулись за ним, даже молокососы перестали кувиркаться на поле и высыпали на берег.

— А ты чего не ныряешь? — спросили у Сырка. Боишься?

— Бояться не боюсь, — с достоинством ответил он. — А все же страх берет.

Делая стремительные, размашистые гребки, многие уже достигли середины и тут столкнулись с парнями на плотках. Все вместе решили плыть к противоположному берегу, не менее грязному, но более отлогому. Его делил пополам, точно известковая жила, белый пенный ручеек, прокладывающий себе путь меж засохших кустов и окаменелой грязи вокруг фабрики отбеливателей с ее зелеными баками и табачного цвета стенами. Задира пошел к этому ручейку помыться.

— Во-во, этого тебе, черномазому, как раз и не хватало! — напутствовал его Сырок.

Задира сложил руки рупором и бойко откликнулся:

— Мне бы еще на пару твою черномазую сестрицу!

— Засранец! — обругал его Сырок.

— И на тебя насру! — не оплошал Задира.

Вернувшиеся от землечерпалки остановились у трамплина повалиться в черной грязи.

На Понте-Маммоло теперь осталось только трое сорванцов, но и те, помешкав немного, Устремились к излучине реки, правда, пока не решаясь раздеться. Они внимательно следили за теми, кто плескался на мелководье и валялся в грязи, а также за теми, кто отмывал себя фабричным отбеливателем на другом берегу. Двое совсем сопливых от души веселились; парень постарше молча, с серьезным видом наблюдал. Потом начал неторопливо раздеваться. Остальные двое последовали его примеру, собрали всю одежду в одну кучу, и самый маленький зажал этот куль под мышкой. Двое других не стали его ждать и спустились по откосу. Малыш надул губы.

— Эй, Бывалый! Я тоже купаться хочу!

— Потом, — не оборачиваясь, хриплым басом ответил тот, кого он назвал Бывалым.

От излучины набежали другие ребяташки, разложили костерки на сухой стерне, и те разгорелись чуть заметными язычками пламени. Подходили по двое, по трое, с криками, вприпрыжку по бесхозным лугам, в глубине которых виднелась белая ограда Сильвер-Чине и горбился Монте-Пекораро.

Эти были в подвязанных бечевкой трусах, в изодранных майках, развевающихся на ветру. Штаны снимали загодя и в поле выходили уже в купальных костюмах.

— Я лучше плаваю! — доказывал семенившему сзади приятелю Армандино; он крепко держал за ошейник овчарку и все время сплевывал на ходу.

— Хрен тебе! — отвечал приятель, стаскивая серую от пыли майку.

С поросшего камышом, топкого пригорка Армандино бросил в воду прутик, и пес, взметая пыль, помчался за ним. Почуввав воду, кинулся в плыв. Ребята столпились понаблюдать за ним. Тот нашел прутик, зажал его оскаленными зубами, выбрался на берег и обрызгал всех грязью. Армандино любовно потрепал его за ушами и забросил прутик еще дальше, заставив собаку повторить свой трюк. Отфыркиваясь, пес вновь появился из воды, бросил прутик и принялся прыгать вокруг ребяташек. Одним становился лапами на грудь, других нахлестывал грязным хвостом и от избытка чувств подвывал. Ребята, смеясь, отпихивали его и приговаривали ласково:

— Вот чертов сын!

Пес прыгнул на Сопляка, едва не повалил его на землю и все хотел обнять лапами, скаля зубы.

— Глянь-ка, влюбился! — заметил Сверчок.

— Кобель паршивый! — Сопляк на всякий случай отошел от овчарки подальше.

— А давай его с Тараканом случим, — предложил Огрызок.

— Давай! Давай! — оживились остальные, повернувшись туда, где одиноко шарил в речном иле Таракан. — Эй, Таракан! Беги скорей сюда и становись раком!

Парень не ответил, лишь еще ниже наклонил голову, так что острый подбородок мышиной мордочки уперся в худые, выпирающие ключицы. На голове у него, прикрывая струпья, красовалась огромная кепка, а бритый затылок казался от этого совсем маленьким, шишковатым. Лицо у него было желтое, глаза навывкате, а губы отвислые, как у обезьяны. Сопляк и Огрызок спустились к нему и стали тянуть за руки. Он тихонько заплакал, и мордочка до самой шеи вмиг стала мокрая от слез.

— Пошли, устроим тебе случку с кобельком, — покрикивали те двое. — А то видишь, неймайся псине!

Таракан хватался за сухие стебли и, ни слова и не говоря, плакал. Тем временем пес разошелся вовсю: мало того, что прыгал на всех и обдавал грязью, так еще начал хватать зубами одежду и разбрасывать где попало.

— Ах ты, сволочь такая! — заорали сорванцы и принялись гоняться за псом — не ровен час, сбросит в воду вещички.

Сопляк и Огрызок со смехом выпустили Таракана, который тут же спрятался в кустах, и устремились за остальными вверх по склону спасать свои лохмотья.

Прижимая к груди одежду, свою и братьев, Мариуччо на всякий случай отошел в сторонку — а то как бы пес и за ним не погнался. Но тот его не замечал, хотя уже не раз на бегу вытерся об него грязной, мокрой шерстью. Но наконец все-таки удостоил вниманием, набросился играючи и вцепился зубами в одежонку.

— Бывалый, а, Бывалый! — звал на помощь испуганный Мариуччо.

Пес ухватил штаны старшего брата и тянул их на себя. Ребята помирали со смеху.

— Вот паразит! — восхищались они овчаркой.

Бывалый с братом взбежал по склону, весь мокрый, и палкой отогнал пса. Затем взял одежду у Мариуччо и, ни слова не говоря, аккуратно ее свернул.

Все вдруг затихли, слышался только голос пьяницы, который распевал песни в грязи под мостом. Но тишина длилась недолго: переплывшие на другой берег уже возвращались и орали во всю глотку, борясь с течением. Сырок так до сих пор и не рискнул войти в воду, но тоже разорялся:

— Задира, эй, Задира, вода теплая?

— Теплая, теплая! — насмешливо ответил ему Сопляк.

— Сам, что ль, не чуешь? — крикнул другой недоросток.

— Всякий говнюк меня еще учить будет! — помрачнев, бросил Сырок.

— Слабо на тот берег переплыть? — подзадорил его Армандино, который уже разделся до трусов — неизвестно, где он их выкопал такие замызганные.

Из-под моста доносилось пьяное пение:

Эх, выйду я на волю, погуляю вволю!

— Ну давай, Сырок, не тушуйся! — понукали его с откоса Альдуччо и Задира.

— Ща он вам покажет класс! — ухмылялся Армандино.

Огрызок метнул с берега в Сырка шматок грязи. Сырок вскипел.

— Кто кинул? — завопил он придвигаясь к краю площадки и глядя вниз.

Ребята загоготали.

— Погоди, дознаюсь, — пригрозил Сырок, — всю рожу разобью!

— Ты хоть плавать-то умеешь? — поинтересовался Армандино.

— Умею, не боись, но на тот берег все ж таки страшновато, — признался Сырок.

Бывалый выудил из трусов окурок и закурил, озирая происходящее. Он с братьями обычно держался особняком, но тут его сразу окружило человек десять. Со всех сторон послышались голоса:

— Дай затянуться.

— Дай покурить, не жлобись!

— Где живешь-то? — спросил его Сопляк в надежде завязать дружбу.

— На Понте-Маммоло, — ответил Бывалый.

— Мы там дом себе строим, — объявил Мариуччо.

Бывалый еще несколько раз затянулся и молча передал окурочек Сопляку. Теперь все глаза устремились на него.

— Сперва искупаемся, — твердил, как попугай, Сырок, — а после в кино.

Что в Тибуртино показывают?

- “Амальфийского льва”, - самодовольно объявил Сырок и улегся на пыльной, сухой траве.

Нынче у него в кармане было полторы сотни, и это поднимало настроение. Через Тибуртино то и дело проходили автобусы из Казале — ди-Сан-Базилио и Сеттекамини; дымное солнце туманило раскаленные вершины Тиволи. С фабрики отбеливателей, которая своими стенами и баками напоминала паука, полз по откосу Аньене, по выжженной стерне, до самого асфальта шоссе, липкий, как масляное пятно, запах гнилых яблок.

Со стороны моста, запыхавшись от быстрой ходьбы, так что грудь вздымалась под белой майкой, появился Кудрявый.

— Эй, Оборванец! — Он покровительственно вскинул руку и помахал среднему брату Бывалого.

— Глянь-ка, кто идет! — крикнул, заметив его, какой-то парень из Тибуртино.

— Оборванец, ты что, оглох?! — снова насмешливо окликнул его Кудрявый, но паренек и ухом не повел — развалился на грязной земле, повернул бровастое лицо к воде и думал о чем — то своем.

Не меняя насмешливого выражения, Кудрявый стал раздеваться. Неторопливо сложил одежду кучкой у ног, затем надел огненно-красные плавки, достал из кармана “отечественную” и закурил. Потом присел на корточки в раскаленной пыли и еще раз глянул вниз на скопище шумливой шпаны. Мариуччо тут же подскочил к нему, зажав под мышкой одежду братьев.

— Оборванец! — в третий раз крикнул Кудрявый.

— Он у нас Певец, а не Оборванец, — с довольной ухмылкой пояснил младший.

— Да ну? — откликнулся Кудрявый и заржал во все горло. — Тогда спой нам песенку, Оборванец!

Тот не шелохнулся; смуглое, лоснящееся лицо сохраняло все то же выражение.

— Неужто он петь умеет? — с притворным изумлением спросил Сопляк.

— Сам удивляюсь! — в тон ему отозвался Кудрявый.

Оборванец по-прежнему молчал, Бывалый тоже, как будто разговор нисколько их не касался. Мариуччо, младшенький, ответил за всех:

— Не станет он вам петь.

— Как так не станет? — возмутился Кудрявый. — Или у него в горле пересохло?

— А что ему за это? — вдруг нарушил молчание Бывалый.

— Закурить дам, — серьезно отозвался Кудрявый.

— Пой! — приказал Бывалый брату.

— И вправду, а? — попросил Мариуччо.

Оборванец чуть приподнял худенькие загорелые плечи и уткнулся птичьим носом в подбородок.

— Ну давай, пой! — нетерпеливо повторил Бывалый.

— А чего петь-то? — спросил средний надтреснутым голосом.

- “Красную луну”! — сделал выбор Кудрявый.

Оборванец неохотно уселся, подпер коленями грудь и запел по-неаполитански. Голос у него был, как у тридцатилетнего — в десять раз сильнее его самого, глубокий, страстный. Остальные ребята, которых что-то давно не было слышно (они возились в грязи за гребнем холма), сразу сбежались послушать.

— Ах ты, стерва, как поет! — восхитился Огрызок.

На реке вновь наступила тишина, как бы подчеркивающая красоту песни.

И в этой тишине в затылок Сырку, который так и не решился опробовать воду, вмазался новый шлепок грязи.

— Кто кинул? — вновь раздался угрожающий окрик. — А ну, покажь, чего у тебя там! — подступил он к Армандино, заметив, что тот одной рукой держит за ошейник овчарку, а другую прячет за спиной.

Армандино глянул на него с насмешливым вызовом; на мгновение в глазах промелькнул испуг, но злоумышленник тут же взял себя в руки и разыграл полнейшее непонимание. Он уселся поудобнее, затем резко выбросил вперед руку и предъявил Сырку раскрытую пустую ладонь. Не удовлетворившись этим, Сырок подскочил к нему сзади, ухватил под мышки и оторвал от земли.

Такого Армандино не ожидал. Он растерянно тряхнул головой, отбрасывая со лба чуб, и поднял глаза на Сырка.

— Чего тебе, убогий?

— Ты что там прятал? — Сырок подобрал с земли ком грязи.

— Да отцепись ты!

— Ты кинул, гад?

— А сам не видишь? — Армандино нагло поднес перемазанную ладонь прямо к носу приятеля и тут же отскочил на безопасное расстояние. — Нашел, о чем спрашивать, дурачок!

Сырок молчал, не в силах справиться с бешенством, — лишь грозно надвигался на обидчика. Но у Армандино за спиной был весь белый свет, все поле, весь широкий берег Аньене до самой землечерпалки, до остерии “У рыбака”, до Тибуртино, — и тем не менее он застыл как вкопанный, чуть сгорбился, готовый ко всему, что уготовила ему судьба. Когда Сырок подошел совсем близко, Армандино вдруг проворно подхватил с земли кусок засохшего дерьма и запустил прямо тому в морду. Но удрать ему не удалось: в два прыжка Сырок настиг его и ухватил за край трусов. Армандино вырвался, но убежать пришлось, показывая всем голую задницу и путаясь в спустившихся до колен трусах. Он отбежал подальше и уселся на берегу, у излучины, а Сырок под общий смех удовлетворенно плюхнулся на землю и тоже стянул трусы. Остальные, сгрудившись на вершине откоса, продолжали хихикать.

— Ты смотри, и Таракан смеется! — удивленно заметил Задира (он уже успел сплавить на тот берег и вернуться).

Услыхав эти слова, Таракан вмиг оборвал смех и хотел было уйти от греха. Но твердая рука Задиры остановила его. Трудно передать, какая пропасть была между Задирой и Тараканом. Косоглазый, кривобокий и вшивый Задира мог считаться самым отпетым прохвостом всей шайки, да не только мог, но и считался, — недаром, даже не глядя, с таким уверенным видом держал он за шиворот Таракана, недаром шлялся по ночам между Саларио и Вилла-Боргезе, якшался с педиками и со всяким отребьем, щипал в трамваях. Таракан же все утро вместе с бабкой рылся в мусорной куче на пустыре, на том самом месте, где вливается в Аньене сточная канава городской больницы. Вот почему, когда рука Задиры насильно усадила его на землю, он съежился, как помертвевший от страха зверек, под своей огромной кепкой, которой только торчащие уши мешали сползти на нос.

— И он смеется, вонючка этот, — повторил Задира, как будто по-приятельски нахлестывая Таракана по тощей спине.

Таракан, обескураженный таким дружелюбием, поднял на него глаза.

— Гляди — хребет переломишь! — проронил Кудрявый.

— Шутишь! — кривлялся Задира. — Поди-ка переломи его, силача этакого! — И врезал Таракану еще разок по спине.

Таракан коротко хохотнул, скривив рот.

— А знаешь, чего он смеялся? — решил расставить акценты Сопляк. — Знаешь, чего?..

Жопу Армандино увидал — вот чего.

— Ну-у? — протянул Задира. — Этот сучонок? Я и не знал, что его стороной обходить надо. Задницы любишь, да? И кто ж тебя этому научил? Поди отец твой черномазый?

Таракан свесил голову, но то и дело исподлобья косился на гоготавшую компанию.

— Да какие там задницы! Какие там задницы! — вмешался Сверчок и, подскочив к Таракану, принялся двигать животом взад-вперед у него перед носом. — Вот чего он любит, козел вонючий!

— Сестре своей покажи! — прошептал Таракан; из глаз у него всю катились слезы.

Сверчок исхитрился раз-другой смазать ему по скуле голым пузом, а после упал в пыль, катаясь со смеху.

— А ну его! — сплюнул Задира. — Мы с тобой, Таракашка, лучше по-немецки поболтаем, верно?

— Он что, немец? — спросил Кудрявый.

— А хрен его душу знает, — пожал плечами Задира. — Поди у матери его спроси, кто он — немец, англичанин или арап.

Таракан заливался слезами, они катились на шею, за ворот, а он и не думал их вытирать.

— Ну так надо проверить, говорит он по-немецки или нет, — заинтересовался Сопляк. — Ну-ка, Таракан, скажи чего-нибудь.

— И вправду скажи, — подхватил Задира. — Чтоб ты сдох вместе со своей вонючей бабкой.

— А не скажешь, — добавил Сверчок, — мы тебе таких навешаем, помани мое слово!

— Чтоб неповадно было, — поддакнул Огрызок.

— Да будет языками чесать, — оборвал всех Задира и обнял Таракана за плечи. — Короче, не скажешь нам чего-нибудь по-немецки, мы твою рвань в речку побросаем — голым в Пьетралату побежишь.

Таракан продолжал плакать.

— Где он манатки свои оставил, кто знает? — задал обществу вопрос Задира.

— Да вот там, в грязи валяются! — крикнул Сопляк и побежал за вещами.

— Сей же час по волнам поплывут! И кепчонка, между прочим, за ними. — Задира сорвал кепку с головы Таракана, обнажив бритый, весь в струпьях череп.

Скомкав Тараканову одежду и подняв ее на вытянутой руке, он бросился в реку и поплыл на тот берег. Оттуда, от ручейка с отбеливателем, он закричал Таракану:

— Не поговоришь с нами по-немецки — будешь отсюда свои сраные тряпки вызволять!

— Чтоб ты сдох, паразит! — крикнул Сопляк и шарахнул Таракану кулаком по спине.

Искаженное лицо Таракана стало еще противнее, но он все же решился выговорить:

— Ach rich grau ríche fram ghelenen fil ach ach.⁵

— Не слышу ничего! Погромче! — кричал с другого берега Задира.

— Ur zum ach gramen bur ach minen fil ach zuni sramen figen? — немного погромче произнес Таракан и снова залился слезами.

— А теперь давай клич индейцев, — распорядился Задира.

На сей раз Таракан подчинился, не мешкая. С непросохшими на щеках слезами он принялся прыгать, размахивать руками и вопить:

— И-ху-ху! И-ху-ху!

Задира бросил его одежду в кусты и поплыл назад.

— Что я, нанимался всякое барахло назад тащить?

Солнце скатилось поближе к Риму, и в воздухе ощущалась гарь.

— Пора, — сказал братьям Бывалый.

⁵ Набор слов с немецким звучанием.

Он знаком потребовал у Мариуччо одежду, натянул штаны, порванные овчаркой, и процедил, разглядывая прореху:

— Чтоб она сдохла, чертова псина!

— Мамке-то чего скажешь? — любопытствовал Мариуччо.

Бывалый вместо ответа достал из кармана второй окурочок и, когда они поднялись по тропе, ведущей к Тибуртино, закурил.

— Обождите меня! — крикнул им вслед Кудрявый.

Трое обернулись и потоптались на месте — то ли ждать, то ли нет.

— Обождем, — решил Бывалый и, даже не взглянув на братьев, плюхнулся с сигаретой в пыль.

Кудрявый не спеша оделся, перебрасываясь шутками с нырявшими с трамплина — то ласточкой, то солдатиком. Из-за этого он напялил задом наперед майку и наизнанку штаны — пришлось переодеться. Наконец присоединился к поджидавшей его троице с Понте-Маммоло и небрежно кивнул.

— Пошли.

Гуськом они двинулись по тропе вдоль Аньене, взобрались по крутому откосу и почти что у Тибуртино поднялись на мост. Кудрявый шагал впереди; загорелые шея и руки поблескивали после купания, а походка была, как всегда, расхлябанной. Он весело напевал, вертя в воздухе мокрыми плавками. Трое братьев старательно за ним попевали. У Бывалого кожа была черная, как лакрица, и глаза, точно уголья; он шагал чинно и понуро, а двое других бежали вприпрыжку, как щенята, по обе стороны от Кудрявого. От Тибуртины они свернули на виа Казаль-дей-Пацци, что тянулась меж обработанных полей, небольших меловых карьеров,строек и развалин. Вокруг было безлюдно, и под солнцем, прокалившим асфальт, слышался только голос Кудрявого.

На виа Казаль-дей-Пацци, правда, обнаружилось несколько рабочих, которые должны были рыть сточные каналы в преддверии выборов, но вместо этого дрыхли пузом кверху в тени у забора.

— Ой, мама родная! — зашебетал Мариуччо, заглядывая в вырытую канаву, куда свисал ворот лебедки.

Оборванец тоже подбежал и поразился глубине ямы. Бывалый смерил их презрительным взглядом.

— Ну вот, — проворчал Кудрявый, видя, что троица увлеклась разглядыванием канав, прорытых по всей длине улицы, — нашли время! Погодите, отец ваш нагрнет!

— Да насрать нам на него, — откликнулся Бывалый.

— Погляжу я, как ты ему это скажешь! — поддразнивал Кудрявый, намекая на тумачи и колотушки, которыми всякий день угощал братьев их отец, пьяница и забулдыга. А Кудрявый с весны работал у него подручным на Понте — Маммоло, так что нрав мастера был ему хорошо известен.

Братья, вняв голосу разума, оставили в покое огороженные каналы и свернули на виа Сельми.

— Он вам фонарей-то наставит, помяните мое слово! — продолжал забавляться Кудрявый.

— Ну и ладно! — огрызнулся Бывалый, вовсе не расположенный выслушивать грозные пророчества Кудрявого, но возразить было нечего.

— Бельма к вечеру нальет, — разглагольствовал Кудрявый, — возьмет здоровенную дубину и отходит вас по всем местам!

— Хватит тебе! — поежился Мариуччо; как ни хотелось ему послать шутника куда подальше, но он сознавал, что еще не дорос до этого и невольно глядел на Кудрявого снизу вверх.

— Да мне что! — не унимался Кудрявый. — Вам на орехи достанется — не мне.

— Хватит, — уныло повторил Мариуччо, не зная, что еще сказать.

— Честное слово, не хотел бы я быть на вашем месте! — Он поджал губы и втянул

голову в плечи, словно готовясь принять град ударов.

— Хватит, — твердил, как попугай, обиженный Мариуччо.

Бывалый помолчал, высасывая последний дым из догоравшего окурка и поддавая мыском камешки на мостовой виа Сельми, пролежавшей меж чахлах палисадников, недостроенных домишек и развешанного во дворах белья.

— Ну вот и пришли! — с издевкой объявил Кудрявый, когда они добрались до конца улицы.

Перед ними вырос одноэтажный, еще не оштукатуренный дом Апулийца. Должно быть, хозяин все-таки намеревался его достроить и уже поставил леса; на утрамбованной площадке палисадника растеклась лужица негашеной извести, а вокруг нее громоздились кучи песка темно-лилового цвета. Но рабочих не видать. Кудрявый подошел к хозяину первый. Апулиец только что ублажил жену и теперь сидел на крылечке с налитым кровью лицом и блестящими, бегающими, как у пса, глазами. Трое ребят, издали заметив отца, на всякий случай держались подальше, у покосившегося забора, чтобы в случае чего мгновенно задать стрекача. Кудрявый же вразвалочку прошел в калитку, вытащил обломок расчески из заднего кармана штанов, смочил его в фонтанчике и стал тщательно причесываться — невозмутимо прекрасный, точно Клеопатра, царица Египетская.

— Овчарки! Глянь, овчарки! — кричал Огрызок, выныривая из-под откоса. За ним неслась остальная шпана.

Возчик Свистун с прической под Руди и Фитиль с двумя взрослыми овчарками, кобелем и сукой, неторопливо шли по дороге от Тибуртино. Дойдя до речной излучины с псами, обнюхивающими по дороге стебли сжатых колосьев, они разделись, вытащили из карманов по куску мыла и, переговариваясь, вошли по колено в воду.

И малышня, и ребята постарше вылупили глаза на эту парочку. Свистун с грубой, как булыжник, физией и Фитиль с черной щетиной, покрывавшей упитанные и уже несколько обрюзгшие щеки, вскрикивали от холода стекавшей по спинам воды и не обращали внимания на оголтело носившихся по берегу собак. Пес Армандино оскалился и зарычал, но подойти боялся; лишь поджал хвост и вертелся вьюном у ног хозяина.

Все ребяташки столпились вокруг Армандино, даже робкий Таракан подошел.

— Ага, струсил, хрен собачий! — усмехнулся Огрызок.

— Да он щенок еще, — встал на защиту пса Сопляк.

— Какой, к черту, щенок, дубина ты! — возмутился Огрызок. — Он раньше меня родился!

Армандино прищелкнул языком и удивленно поднял брови.

— Спятил? Ему еще года нет.

— Ну и что? — возразил Огрызок. — Значит, он должен других собак бояться?

— Чего это он боится? — нахохлился Армандино. — Знаешь, ты меня не зли! — Он подошел к своему псу и, схватив за ошейник, потащил его к овчаркам, которые теперь копошились на стерне. — Давай, Волк, ну давай, фас! — шептал он, низко склонившись над ним и в ярости брызгая слюной.

От этих едва слышных понуканий Волк выкатил грудь и весь задрожал, завибрировал, как заведенный мотор. Армандино еще пошептал ему что-то и внезапно отпустил.

Шпана притихла в предвкушении захватывающего действия. Из двух собак Фитиля кобель был поменьше, пощуплей; увидев, как парень науськивает на них Волка, он поджал хвост и припустил во всю прыть по полю, время от времени оборачиваясь, чтобы взлаять или грозно зарычать.

А сучка оказалась та еще бестия. Черная, поджарая, с острой мордой и облезлым хвостом, она точно окаменела при виде наступавшего врага и лишь поводила глазами туда-сюда. Волк, приблизившись, тоже стал как вкопанный и бешено ее облял.

Она немного послушала залиvistый лай и гомон ребят, потом повернулась задом и с достоинством удалилась, как бы говоря: “Оставьте меня в покое, иначе бед не оберетесь!”

Но удаляясь, все время сворачивала назад морду, и в темных немигающих глазах

мелькали кровавые сполохи.

— Давай, Волк, ату их, фас! — шептал Армандино.

Остальные тоже принялись подзадоривать пса и подняли гам, словно бесноватые мартышки: наверно, даже в Тибуртино было слышно. Наивный Волк бросился в погоню за сукой, захлебываясь лаем, на который та даже не соизволила ответить.

“Не больно-то надрывайся, — говорила она всем своим видом. — Ты моего характера не знаешь”. Но вдруг какое-то время спустя потеряла терпение и откликнулась диким воем: “Да чтоб ты сдох!” От ее свирепого рыка Волк вмиг остановился и прижал уши, а бегущим за ними сорванцам стало как-то не по себе. Сука стремительно рванулась назад, подлетела и мрачно уставилась на этого дурошлепа Волка, который в одночасье растерял весь пыл.

— Ну, Сопляк, что я тебе говорил? — усмехнулся Огрызок.

Армандино вновь кинулся к псу.

— Давай, Волк, давай! — подзуживал он; от азарта его теперь тоже пробирала дрожь.

Волк немного набрался храбрости и вновь залаял, еще громче. “Ишь, какой голосистый!” — подумала сука. “Сука, паскуда, нечего на меня так смотреть! Никто тебя тут не боится!” — слышалось в лае Волка. Она отмалчивалась. “Погоди, подлюка, — грозил пес, — я тебе башку-то враз отхвачу!”

“Уж больно ты разошелся!” — вступил в собачью беседу подоспевший кобель Фитиля.

“А это еще что за недоразумение? — обернулся к нему Волк. — Ты чего тут позабыл, урод?”

Сука испустила глухой рык.

“Нечего рычать, на своего кобеля рычи!” — ярился Волк.

“Ну довольно! — взорвалась сука. — Надоел ты мне! Пусть я на тридцать лет загремлю в Реджина-Чели, но не откажу себе в удовольствии в клочья тебя порвать!”

— Да они загрызут друг друга! — начал было Сопляк, но договорить не успел.

Две овчарки в мгновение ока сцепились: задними лапами уперлись в землю, передними сплелись в объятии, разинули пасти, до десен обнажили клыки. И начали грызть друг друга за ушами, а между укусами рычали так, что многоголосый ор ребятни стал не слышен. Волк катался по земле, вздымая пыль; сука, оказавшись сверху, ловко вцепилась ему в горло. Но Волку удалось вывернуться; отскочив назад, он снова бросился в атаку на задних лапах, размахивая передними, как утопающий. Подхлестнутые бешенством, овчарки взревели и сцепились опять. Но тут из воды выскочил Фитиль и оглушительно свистнул. Сука вильнула хвостом и послушно потрусилась к нему, будто и не была только что под гипнозом бешенства, а за ней, как ни в чем не бывало, последовал кобель. Затем Фитиль послал куда надо столпившуюся шпану и, когда всласть выговорился, вместе с собаками снова полез в воду, чтобы продолжить мытье.

Волку, однако, крепко досталось.

— Гля, как покусала! — сказал, еще не оправившись от удивления Сверчок. — Вот это покусала!

Все склонились над Волком. Шея у него была почти голая, лишь кое-где торчали клочья черной, слипшейся от крови шерсти.

— Черт возьми! — выдохнул Сопляк, ошарашенный не менее чем Сверчок.

— Пошли бросим его в воду, — предложил Огрызок, и все устремились вниз, волоча Волка по откосу.

Тем временем Сырок выбрался на берег, где взрослые парни уселись играть в карты. Все то и дело поворачивали головы к стенам фабрики — не появилась ли в окошке дочка сторожа, перед которой каждый, как мог, выхвалялся своей наготой.

— Где мои шмотки? — спросил Сырок и, оглядевшись, дурашливо позвал: — Шмотки! Где вы?

— Уже уходишь? — спросил Альдуччо.

— А чего тут делать? — отозвался Сырок, шаря в кустарнике и камышах.

— Выкупаемся еще разок.

— Не, не хочу.
— Да брось его, пусть идет, — толкнул приятеля в бок Задира.
Сырок наконец отыскал свою одежду и стал сосредоточенно ее разглядывать.
— Кто-то ее трогал, — сказал он вроде бы сам себе. — Кто б это мог быть?
Признавайтесь, гады, кто в мои карманы лазил? — громко обратился он к присутствующим.
— Да ну! — усмехнулся Сопляк. — Кому больно надо!
— Поймаю — глаза выцарапаю!
— Сперва поймай! — поддразнивал его Задира.
Сырок стал натягивать носки и ботинки, напевая себе под нос:
Эх, каблочки-подковочки...
Задира мотнул головой в его сторону.
— Видали — Клаудио Вилла!
— А то! — с гордым видом согласился Сырок и продолжал петь.
— Хватит горло-то драть, — посоветовал Альдуччо.
— Чего это — хватит? — возмутился Сырок. — Тебя не спросили! Хочу пою хочу нет!
«Эх, каблочки-подковочки...» Давай и ты одевайся, прошвырнемся, а потом завалимся в кино.

Он обулся и стал развязывать ремень, которым была перетянута одежда.
— Ты-то завалишься, а нет, чтоб друзей пригласить! — упрекнул его Задира.
— Рехнулся? У меня на все — про все полторы сотни.
— На “нет” и суда нет! — вздохнул Задира.
Сырок снова было затянул свои “каблочки-подковочки”, но вдруг резко оборвал песню.
С минуту молчал, потом шагнул вперед с одеждой в руке, белый как смерть.
— Кто деньги спёр?
— Ты на кого тянешь? — взвился Задира. — На, обыщи!
— Кто деньги спёр? — повторил Сырок, еще больше побледнев.
— Так они тебе и скажут, держи карман! — покачал головой Фитиль, удаляясь вместе с овчарками.

— А ну, выворачивай карманы! — заголосил Сырок.
Задиру аж передернуло.
— Ну на, на, проверяй, ублюдок! — Он схватил свою одежду и швырнул ее прямо в морду Сырку.

Тот взял и тщательно обыскал карманы; заглянул даже в носки и ботинки Задиры.
— Ну, нашел? — с издевкой спросил Задира.
— Ага, теперь хрен найдешь! — уныло пробасил Сырок.
— Вот и ступай со своим хреном! — не растерялся Задира.
Сырок принялся методично обыскивать вещички Альдуччо, потом всех остальных по порядку, но так ничего и не нашел. С яростью он побросал одежду в пыль, избегая глядеть другим в глаза. Сколько времени ему не перепало таких денег, давно он не был так счастлив, как сегодня. И вот, нате вам! Сырок медленно оделся и ушел в глубокой меланхолии. Солнце изрядно припекало, над Римом повисла пелена черных паров, а в Тибуртину уже тянулся по мосту нескончаемый поток машин. Поднимались друг за другом жалюзи “Сильвер-Чине” отовсюду слышались голоса и грохот: предместья пробуждались от послеполуденной спячки. Альдуччо и Задира еще раз окунулись и тоже пошли своим путем. Только мелюзга еще долго не уходила с берега.

Но и эти начали потихоньку разбредаться. Кто-то отправился домой по виа Боккалеоне, кто-то медленно двинулся вдоль реки до Тибуртино, кто-то задержался на полчаса у “Сильвер-Чине” поглазеть на афиши и побузить. Сквозь заросли олеандров один за другим ребята выбирались к автобусной остановке у подножия Монте-Пекораро, служившей негласным пунктом сбора шпаны всех возрастов.

На эту площадку захаживали и девчонки; по ней, мимо зубчатой вершины горы проезжали на велосипедах домой рабочие — кто катил прямо, до Понте-Маммоло или

Сеттекамини, кто поворачивал перед этим пяточком к Тибуртино или Богоматери Заступнице. Многие ребята успели забежать домой и принарядиться для прогулки с приятелями до ближайшего бара или кинотеатра; вечером у них было принято расхаживать, фасонисто выпустив из штанов майки и рубашки.

Последняя группа оборванцев поднималась с берега Аньене темно-бурой тропинкой, выходящей по краю туфового карьера, среди кустов ежевики, покрывавших Монте-Пекораро.

За ними увязались девчонки; все вместе дошли до середины склона, до площадки, откуда уже не видно дороги, зато здесь много заброшенных пещер. Со стороны Сан-Пьетро надвигалась гроза, и чудилось, что уже наступил вечер. На закатное солнце напоздали тучи, их то и дело расчерчивали молнии, но небо еще багровело, как раскаленная наковальня. Склоны Монте-Пекораро облизывал удушливый африканский ветер, вобравший в себя шумы всей округи. Таракан ковылял позади ребячьей ватаги, добродушно хмыкал на остроты Сопляка и Огрызка из-под своей гигантской кепки, однако предусмотрительно держался в стороне: вроде и в компании, и сам по себе. Должно быть, благодаря присутствию девчонок остальные перестали его донимать. Дойдя до столба, компания остановилась. Было решено поиграть во что-нибудь. Сопляк и Сверчок долго кидали на пальцах, выбирая подходящую игру, спорили до хрипоты, стоя на четвереньках под фонарем и приминая без того чахлую травку.

Армандино выбрал себе тенистый уголок и улегся там, поглядывая на небо и на пляшущие молнии. Пока совсем не стемнело, ребята принялись скакать, как дикари, и хватать девчонок за грудь. Схватят — и тут же в сторону: им еще мешала робость, и они держались кучкой, чтобы чувствовать себя увереннее. К тому же у девчонок язычки острые, как бритва, — так обрежут, что не обрадуешься.

— Нашли себе забаву! — презрительно сплюнул Армандино. — Чихали они на вас! — И вызывающе затянул песню.

Но все продолжали играть в индейцев и цепляться к девочкам. Огрызок, не найдя другого способа обратить на себя внимание, взял и заехал одной кулаком по голове та аж присела. Девчонки надулись и отошли стайкой на другой конец площадки, откуда открывался вид на Пьетралату; ребята, конечно, потянулись за ними; чем сдержанней вели себя девочки, тем больше расходились мальчишки. У подножия Монте-Пекораро, среди старых домов, выстроенных из туфа, примостилась фабрика Фьорентини; от ее станков вибрировал воздух; из огромных щелястых окон вырывались искры автогенной сварки. Пьетралата была подальше: сперва ряды пропыленных розовых домиков, где ютились выселенные, за ними шеренга огромных желтых домов на выжженном пустыре.

Девочки, не отвечая больше на заигрывания сорванцов, удалились в глубь рощицы, угнездившейся меж двух больших оврагов, и лишь изредка перебрасывались словом друг с дружкой. Но ребята не желали сдаваться: сгрудились кучкой чуть выше по склону и горячо обсуждали, чем бы еще уязвить девчонок, чье поведение их бесило, хоть они и старались не подавать виду. Шум нарастал с каждой минутой. Раз уж в острословии им девчонок не перешеголять, так они хотя бы вдосталь подергают этих задавак за платица — и без того ветхие, штопаные, — или за волосы, все сальные и в перхоти, но причесанные, как у взрослых.

Девчонкам ничего не оставалось, как переместиться еще дальше по склону, хотя прежде они высказали мальчишкам все, чего те заслуживали.

— К сестрам своим цепляйтесь, а нас не трогайте, дураки! — кричали они.

От раздражения голоса их звучали визгливо и протяжно. Мальчишки тут же уловили это и принялись передразнивать их, подражая старшим братьям, которые любили поизмываться над голубыми на виа Венето.

— Педрилы! — голосил обычно самый дерзкий, и все, как по команде, начинали вихлять задом и приглаживать волосы на затылке.

Армандино продолжал драть глотку под кустом, Сопляк и Огрызок все кидали на пальцах — никак не могли договориться, кому водить.

— Чтоб вы сдохли! — кричали им остальные.

— Будем мы наконец играть или нет?

Двое стали бороться под фонарем, упали и покатались по траве, зверски рыча. Кто-то достал бычок и закурил; брошенная на землю спичка запалила траву, та сморщилась, зашипела под капризным ветерком, обдувавшим склоны.

Тучи сгущались, их все чаще прорезали молнии, подсвечивая красным; от молний да белых искр сварки в наступившей темноте было хоть что-то видно. Моторы фабрики заглушали гомон бедняцкой жизни в Пьетралате и Тибуртино.

Таракан сидел на земле, скрестив ноги, и растягивал в улыбке толстые, отвислые губы: кепку он сдвинул на затылок, спрятав под ней растопыренные уши.

— Эй, Таракашка! — закричали ему ребята, валяясь в засохшей грязи. — Иди, угостим!

Но Таракан даже не шелохнулся, зная, что это подначка; он был рад, что дерущимся теперь не до него.

Сопляк растянулся на земле кверху пузом. Огрызок пригвоздил к земле его запястья — крепко, не вырвешься.

— Лежать! — кричал Огрызок, покраснев от натуги.

У Сопляка уже занемели конечности, но он все равно извивался, как уж, и голосил:

— Чтоб ты сдох!

— Не шевелись, Сопля, хуже будет! — угрожал ему Огрызок.

— Убери с меня свой хрен! — чуть надтреснутым голосом ответил Сопляк, всерьез начиная злиться.

Но опьяненный победой Огрызок бешено прыгал на теле поверженного врага.

— Слезь, Огрызок, тут сторожа ходят! — предупредил его Сопляк.

Тогда Огрызок резко соскочил, оставив Сопляка отдуваться и пыхтеть на земле.

— Поиграем в индейцев? — предложил он.

— Да пошел ты!

— Хоть повеселимся малость, — настаивал Огрызок. — Делать-то нечего!

— Тоже мне, веселье! — усмехнулся Армандино.

— Иху-ийюху-иху! — завопил Огрызок, подражая кличу индейцев. — Подтягивай, Таракан!

Таракан поднялся и тоже начал кричать, подпрыгивая то на одной, то на другой ноге:

— Иху-ийюху-иху!

Огрызок положил ему руки на плечи, они стали кружиться и вопить хором, как бесноватые:

— Иху! Иху!

Девочки вернулись поглядеть, нет ли тут чего новенького, но, увидев все ту же шайку, фыркнули:

— Ну и психи!

А мальчишки еще пуще раззадорились.

— Пляска смерти! — надрывался Огрызок. — Станцуем пляску смерти!

Остальные заразились его возбуждением и заголосили “иху”. В три прыжка то один, то другой подскакивал к девочкам, пытаясь дать им пинка или кулаком по макушке. Но те ожидали провокации и ловко увертывались.

— Хватит вам, невежи! — надменно цедили они. — Распсиховались тут!

Однако не уходили: видно, им пришла охота поглядеть на индейские пляски, оттого мальчишки, которым игра уже порядком надоела, ради них лезли вон из кожи.

— Позорный столб! — крикнул Огрызок.

— Это уж точно! — с притворным равнодушием отозвались девчонки. — Тебя бы к нему пригвоздить.

Огрызок еле ноги волочил от усталости и охрип кричать “иху”, но тем не менее вдруг набросился на Таракана, расплясавшегося вместе со всеми, и заорал:

— К позорному столбу!

Другие с восторгом поддержали его и скопом потащили беднягу к фонарю.

— Вяжи его! — крикнул Сопляк.

Таракан сперва слабо отбивался, потом обмяк и позволил волочить себя по земле, как мертвеца.

— Стой на ногах, чтоб ты сдох, вошь поганая! — скомандовал Огрызок, поддерживая его под мышки.

Но Таракан не желал стоять и валился мешком на землю под возмущенные крики остальных.

— Ну хватит, осточертело мне! — заявил Огрызок и дал Таракану пинка в живот.

Таракан заплакал так громко, что даже перекрыл визг девчонок.

— Ты глянь, он еще сопли распустил, засранец! укоризненно покачал головой Армандино.

— А ну, заткнись! — Огрызок, сжав кулаки, *вплотную подступил* к Таракану.

А тот, горько плача, продолжал валяться в пыли.

— Вдесятером с одним не могут сладить! — язвили девчонки.

Тогда Огрызок схватил Таракана за ворот и рывком поднял с земли.

— Пусти, сволочь! — кричал тот сквозь слезы.

— На, съешь! — Огрызок плюнул ему прямо в глаз, а затем с помощью Сопляка и Сверчка пинками подтолкнул к фонарю.

Связав несчастному руки веревкой, они подвесили его к крюку, торчавшему из бетонного столба.

Но даже связанный, Таракан продолжал дергаться и кричать. Шпана затеяла вокруг него безумный хоровод с криками “иху”, однако держались подальше, чтобы Таракан ненароком не зацепил их болтавшимися в воздухе ногами.

— Уф! Уф! — отдувался Огрызок. — Веревки больше ни у кого нет?

— Откуда? — развел руками Сверчок.

— Таракан, а, Таракан, — крикнул Сопляк, — ты штаны чем подвязываешь?

Все набросились на жалобно стонавшего Таракана.

— Нет, вы поглядите на этих безмозглых! — проговорила одна из девчонок.

Но племя индейцев уже вошло в раж и, вытащив веревку, заменявшую Таракану ремень, туго-натуго перетянула ему лодыжки.

— Теперь запалим позорный столб! — высказал предложение Армандино и чиркнул спичкой.

Но ветер тут же загасил ее.

— Иху! Иху! Иху! — голосили остальные.

— Зажигалку давай! — крикнул Сверчку Сопляк.

Сверчок, порывшись в карманах, достал зажигалку, а ребята тем временем нагребли к фонарю сушняка и, не прекращая кричать и приплясывать, запалили костер.

Вдруг как по заказу подул сильный ветер; на Монте-Пекораро совсем стемнело; в воздухе запахло сыростью и уже слышались отдаленные раскаты.

Сушняк занялся мгновенно: кровавые язычки побежали по травинкам, и вокруг осатанело орущего Таракана за клубился дым.

Развязанные штаны соскользнули вниз, заголив живот и собравшись гармошкой у ног. С высохших стеблей и веток, которые шпана все подгребала к столбу, огонь, легко и весело потрескивая, перекинулся на ткань.

7. В Риме

У подножия Монте-Пекораро, на площадке, рядом с огромным щитом “Конец района — начало района”, торчал старый навес автобусной остановки. Здесь разворачивался триста девятый, выезжая с виа Тибуртино, прежде чем направиться меж строек к Богоматери Заступнице. Альдуччо и Задира жили в Четвертом квартале, в конце главной улицы

предместья, сразу за рыночной площадью. В сумерках на улице, где все дома были не выше двух этажей, загорались фонари и придавали ей вид заштатного курортного городка; спускаясь вниз, улица будто сливалась с туманным небом или терялась в шумах внутренних дворов, где всегда отличная акустика и где в это время ужинали или готовились ко сну обитатели предместья. То был час мелких сорванцов и шпаны постарше; настоящие бандюги еще хоронились в забегаловках и подворотнях, ожидая ночи, — не для того, чтобы пойти в кино или на Вилла-Боргезе, а чтоб собраться в каком-нибудь притоне и проиграть до утра в ландскнехт. Какой-то юнец в одном из дворов пощипывал струны гитары, женщины домывали посуду и мели пол, мелюзга канючила, автобусы неумоимо подвозили домой народ после трудового дня.

— Пока, Задира, — сказал Альдуччо, останавливаясь перед домом.

— Пока, — отозвался Задира, — свидимся.

— Жду в девять, — напомнил Альдуччо. — Свистни, ладно?

— А ты будь готов.

Альдуччо с трудом протолкался сквозь рассеившуюся на оббитых ступеньках ребятню. Он жил на первом этаже, четвертая дверь по коридору. По фасаду с покосившимися (вот-вот рухнут) колоннами тянулась узенькая терраса. На одной из ступенек сидела его сестрица.

— Ты чего тут? — спросил Альдуччо.

Та задумчиво глядела перед собой и потому не ответила.

— Ну и черт с тобой, дура! — обругал он ее и прошел на кухню, где мать возилась у плиты.

— Тебе чего? — спросила она, не оборачиваясь.

— Как это — чего? — возмутился Альдуччо.

Мать рывком повернулась к нему, вся расхристанная, как ведьма.

— Кто не работает — тот не ест, понял?

Она была в надетом на голое, грузное тело засаленном халате: от пота пряди волос прилипли ко лбу, а пучок растрепался и свисал на шею.

— Ну ладно, — спокойно отозвался Альдуччо. — Не хочешь меня кормить — и хрен с тобой.

Он ввалился в комнату, где ютилась вся семья (в соседней разместилось семействе Корявого), и начал раздеваться, нарочито насвистывая, чтобы мать убедилась, что ему действительно на нее наплевать.

— Свисти, свисти, паршивый! — закричала мать из кухни. — Чтоб тебя черти взяли вместе с этим пьяницей, твоим отцом!

— Ага, — весело откликнулся Альдуччо, надевая мокасины на босые ноги, — и вместе с этой стервой, моей матерью! Поди лучше на дочь свою, сучку, поори, а на мне нечего зло срывать! Можешь вовсе не кормить — заткнись только!

— Я те шас заткну, я те шас заткну! — завопила мать. — Растила сыночка на своем горбу до двадцати лет, а он ни лиры домой не принесет, ни лиры, ублюдок поганый!

— Скажите, какая цаца! — крикнул ей в ответ Альдуччо, продолжая наводить марафет.

С улицы доносились не менее сварливые голоса, и мать Альдуччо на миг умолкла, прислушиваясь.

— Дуры ненормальные! — крикнула мать от плиты, потом со звоном уронила что-то и метнулась к двери. Там с минуту постояла молча, видимо собираясь с духом, потом кинулась на улицу, влив свой визгливый голос в общий хор.

— Ох уж эти бабы! — проворчал Альдуччо. — Им бы в цирке с медведями бороться!

Прошло, наверное, минут десять; шум на улице все не утихал. Потом входная дверь со скрипом отворилась, но не захлопнулась: должно быть, мать Альдуччо еще не все высказала соседкам.

— Грязная тварь! — выкрикнула она, вновь спускаясь по ступенькам. — Сама до седых волос таскается, а еще смеет мою дочь шлюхой называть!

Ей ответил с улицы женский голос на таких же повышенных тонах, правда, слов

Альдуччо не разобрал.

— Чтоб вы сдохли, стервозы! — в сердцах прокомментировал он.

— Ну-ну, договорилась! — Мать по-бойцовски уперла руки в боки. — Чья бы корова мычала! Что я, не знаю, как ты деньги тянешь у мужика, чтоб детей в кино отправить да с ним перепихнуться?

Голос из двора повысился еще на два регистра, изрыгая все мыслимые и немыслимые проклятия. Когда поток излился, пришел черед матери Альдуччо.

— А ты забыла, — взвилась она так, что сам Иисус Христос не смог бы ее уgomонить, — забыла, как муженек тебя с хахалем в постели застукал, да еще при детях? — Не дожидаясь ответа, она захлопнула дверь и звенящим от ненависти голосом крикнула: — Умолкни, бесстыжая, и на глаза мне больше не попадайся, не то я тебе космы-то повыдираю!

В этот миг входная дверь опять отворилась, и вошел родитель Альдуччо. Он, по обыкновению, был пьян и от полноты чувств пошел обнимать жену. Но та отпихнула его так, что он завертелся волчком и рухнул на очень кстати подвернувшийся стул. Однако желания приласкать супругу не утратил, а снова поднялся и шагнул к ней. Из соседней комнаты выглянула сестра Кудрявого и как раз застала момент, когда отец Альдуччо был вторично отброшен на стул.

— Тебе чего? — напустилась на нее мать Альдуччо. — Чего ты тут забыла?

Девочка, прижимавшая к груди уменьшенную копию Кудрявого, круто повернувшись на пятках, скрылась в своей комнате.

— Чтоб весь ваш сучий выводок в тартарары провалился! — не унималась мать. — Четыре года на шее сидят — и нет, чтоб когда-нибудь сказать: “Нате вам, тетя, тыщу, хоть за свет заплатить”!

Отец какое-то время собирался с силами, потом все же сумел с натугой выговорить несколько слов:

— Вот ведь глотка луженая у ведьмы!

На дальнейшую связную речь пороху у него не хватило, и он продолжал объясняться жестами: то прикладывал руки к груди, то хватал себя за нос, то выписывал пальцами невообразимые пируэты. Наконец быстрыми, семенящими шажками он проследовал в комнату, где одевался Альдуччо, и прямо в одежде рухнул навзничь на кровать. С обеда он накачивался вином, поэтому лицо у него было бледное, как полотно, под жесткой трехдневной щетиной, Доходившей едва ли не до бровей. Весь его облик отличала какая-то расхлябанность: раскинутые на покрывале руки, впалые скулы, щелочки глаз, черные, мокрые от пота, будто набриолиненные волосы. Висевшая над кроватью лампа высветила на лице пятна застарелой грязи и свежий налет пыли, смешанной с потом. Затянутая паутиной морщин кожа высохла и пожелтела — не иначе, по причине больной печени, спрятанной под лохмотьями в костлявом теле запойного пьяницы. Вдобавок на этом неприглядном лице проступали сквозь щетину бурые пятна — то ли веснушки, то ли следы ударов, полученных в детстве и в юности, когда он служил в армии или батрачил. А синие круги под глазами от недоедания и перепоя превращали его лицо в безжизненную маску.

Альдуччо уже приготовился к выходу: надел брюки-дудочки, полосатую майку навывпуск, с открытым горлом. Оставалось только причесаться. Он прошел к маленькому зеркалу в кухне и гребешком, смоченным под раковиной, стал приглаживать волосы, нагнувшись и широко расставив ноги, поскольку зеркало висело низко для него.

— Опять под ногами болтаешься, бездельник! — послышался пронзительный голос матери, и она выросла у него за спиной с перекошенным от злобы лицом.

— Хватит, мать, надоела уже! — взорвался Альдуччо.

— Это ты мне надоел, паразит!

Склонившись над зеркалом, он принялся напевать.

— Работать не работает, по дому ничего не поможет!

— Уймешься ты или нет?

— А вот не уймусь! Ты мне рот не затыкай, лодырь чертов!

— Ори себе на здоровье, а я пошел! — Альдуччо глянул напоследок в зеркало и вышел, хлопнув дверью.

На сестру, что по-прежнему сидела на ступеньках, натянув на колени юбку, он даже не взглянул. Ее ярко накрашенные губы казались открытой раной на бледном, почти зеленом лице. Прямые как палки волосы спускались на шею, под глазом красовался фонарь.

“Вот сучка бесстыжая!” — подумал Альдуччо, уходя. С тех пор, как сеструха спугалась с сыном синьоры Аниты, торговки фруктами, что жила на углу, покой исчез из дома Альдуччо. Ей бы теперь замуж, но сыну торговки она уже осточертела. Ее то и дело выгоняли по ночам из дома, и дружок иногда составлял ей компанию на ступеньках, но больше по привычке и для показухи. Когда она забеременела, он вроде бы и готов был с ней обручиться, но его мать и слышать об этом не хотела. От безысходности девчонка пыталась перерезать себе вены осколком стекла — еле отходили, и до сих пор у нее на запястьях были свежие шрамы.

Поджидая Задиру, Альдуччо прогуливался перед домом. Гроза прошла стороной, в воздухе потеплело — прям весна. Не успел Альдуччо сделать и двух шагов, как увидел Задиру. Приятель тоже принарядился: на шею повязал платок, как пират, длинные соломенные патлы причесал гладко-гладко, а на макушке вывел нечто вроде петушиного гребня.

— Эй, Задира! — крикнул Альдуччо.

— У тебя сколько? — не теряя времени, спросил Задира.

— Тридцать лир, — ответил Альдуччо.

— На автобус хватит! — оживился Задира. — У меня тоже.

— Как? — насторожился Альдуччо. — А остальные?

— Да здесь, здесь! — успокоил его Задира, похлопав по заднему карману, где лежали реквизированные у Сырка полторы сотни.

— Сигарет прикупим, — размечтался Альдуччо.

— Точно. — Задира помахал вслед проезжавшему автобусу. — Ушел!

— Другой придет, — беспечно отозвался Альдуччо.

У обоих подвело живот. Особенно это было заметно по Задире: лицо под соломенными волосами желтое с прозеленью, и на нем отчетливо выделяются прыщи. Он так ослабел от недоедания, что даже температура не добавляла его лицу красок, хотя с тех пор, как его выписали из туберкулезной больницы, по вечерам у него всегда было выше тридцати семи. Уже несколько лет Задира страдал чахоткой, врачи сказали, что это неизлечимо — ему осталось жить год, не больше.

Шагая рядом с Альдуччо, он то и дело прикладывал ладони к пустому животу, сгибался от боли и костерил на чем свет стоит своих братьев, отца, а пуще всех идиотку мать, которая как-то ночью с диким криком упала на пол с кровати и начала вопить, будто одержимая дьяволом, и с тех пор каждую ночь устраивала домашним концерты. Клялась, что видит змею, которая обвилась вокруг ножки кровати, глядит на нее не отрываясь и вынуждает раздеться догола: мало-помалу залиvistые причитания переходили в сплошной вой. А теперь и днем она время от времени принималась вопить, лаять по-собачьи, цепляться за дочерей и за всякого, кто оказывался рядом, и умоляла спасти от одной ей ведомой напасти. Не так давно она опять проснулась ночью с криком, но на сей раз испугала ее не змея. Обезумев, мать все придвигалась к краю кровати, чтобы освободить кому-то место, даром что давно высохла, как щепка, и места почти не занимала. Рядом с ней, как она потом рассказывала, улеглась мертвая девица, — что мертвая, мать определила по одежде: нарядное платье, белые шерстяные чулки, на голове венок из флердоранжа, не иначе, собралась под венец идти. И вот та девица начала матери жаловаться: дескать, нижнюю рубашку ей надели слишком короткую, а венок — узкий, виски будто обручем сдавил, и заупокойных молитв мало над ней прочли, и двоюродный братец, поганец этот, никогда к ней на могилку не придет, — ну и все в том же духе. Наяву этой девицы мать в глаза не видала, но когда ночные происшествия, будоражившие всю округу, начали обсуждать во

дворах, то выяснилось: мертвая девица приходится родней людям, которые поселились недавно в их доме, все детали сходятся вплоть до поганца двоюродного брата, что и поныне живет и здравствует в предместье Пренестино. Затем к матери опять начал являться дьявол в разных обличьях: то змеем прикинется, то медведем, то соседкой по дому, у которой выросли страшные клыки, — и все эти твари входят в спальню Задиры, как в свою собственную, чтобы мучить его мать.

Семья решила: надо что-то делать, и вызвала из Неаполя старого родственника, сведущего в таких делах. Прежде всего родственник прокипятит все вещи, принадлежавшие лично матери: на это кипячение ушло несколько дней и уйма газа, так что на вечерних трапезах пришлось поставить крест. Трое братьев, четыре сестры и все соседки занялись изгнанием бесов. Они обнаружили в подушке матери Задиры перышки, сплетенные в форме голубки, крестика, веночка — и тоже все прокипятити. Кроме того, кидали в кипящее масло кусочки свинца, потом вытаскивали и бросали в холодную воду, чтобы поглядеть, что за фигурки выльются; вдобавок в доме несколько дней стоял дикий скрежет — это заботливая родня вычерчивала на полу круги вокруг порченной, а та лишь хныкала да причитала.

— Хоть бы хлеба кусок дали, ведьмы чертовы, так нет же! — негодовал Задира, держась за живот.

— Да уж, — смеялся Альдуччо, — видать, мы с тобой вместе с голодухи помрем. — От улыбки его лицо становилось еще красивее.

Друзья заложили руки в карманы и пешком направились к Монте-Пекораро.

Хорошо, когда не веет удушливый сирокко, не палит летний зной, а на улице тепло. Будто кто-то влил в прохладный ветерок теплую струю или прошелся теплой рукой по стенам домов, по лугам, по мостовым, по автобусам с гроздьями людей, висящих на подножках. Воздух тугой и звенящий, как шкура барабана. Стоит помочиться на тротуар — он тут же высыхает; кучи мусора в сухом воздухе сгорают мигом, не оставляя запаха. Вонью пропитались лишь раскаленные на солнце камни да навесы, — должно быть, оттого, что на них сушат мокрые тряпки. В садах, ставших большой редкостью, зреют плоды, словно в раю земном; на улице хоть бы одна лужа осталась. На главных площадях и на перекрестках предместий, таких, как Тибуртино, толпится народ, мечется, кричит, точно в чреве Шанхая, и даже на пустырях царит сумятица: парни рыщут в поисках потаскух, надолго задерживаясь поболтать перед еще открытыми механическими мастерскими. А за Тибуртино, скажем, в Тор-ди-Скьяви, Пренестино, Аква — Булликанте, Маранелле, Мандрионе, Порта-Фурба, Куартиччоло, Квадраро людское море разливается перед светофорами; но постепенно толпы рассасываются, исчезают в близлежащих проулках, бредут вдоль облупившихся стен домов, ныряют в парадные или спешат к своим лачугам. Юнцы заводят моторы своих “Ламбретт”, “Дукатов”, “Мондиале”, — кто в засаленных, раскрытых на грязной груди комбинезонах, кто, наоборот, принаряженный, будто сейчас только с витрины Пьяцца-Витторио; однако большинство уже навеселе. Короче, каждый вечер между Римом и предместьями происходит грандиозное коловращение; жизнь, бурля, выплескивается на улицы из барачков и небоскребов и течет до самого центра, под колоннаду и купол Святого Петра или к Порта-Кавалледжери. Вот они, голосят, пьют кислое вино, плюются и ругаются вокруг кинотеатриков и пиццерий, разбросанных на виа Джельсомино, на виа Кава, между виа Форначи и Яникулом, на площадках утрамбованной земли, окаймленных мусорными кучами, где днем ребятишки любят играть в футбол обрывками газет.

В центре, например, на пьядца Ровере, наблюдается та же самая картина: идут туристы в штанах по колено и тяжелых башмаках, задирают головы, держатся под ручку, поют хором альпийские песни, а шпана в брюках-дудочках и остроносых ботинках, опершись о парапеты Тибра, глазеет на них и шлет им вслед неприязненные, саркастические реплики: если б те услышали и поняли — наверно, так и умерли бы на месте. По выщербленным набережным, под кронами платанов дребезжат редкие трамваи, или стрекочет на повороте мотороллер с одним или двумя юнцами, рыскающими, чем бы поживиться; у подножия Замка Святого

Ангела плещется освещенная огнями Чириола: гудит элегантная, будто огромный театр, пьядца Дель Пополо; у Пинция и на Вилла-Боргезе сентиментально пиликают скрипки, а проститутки всех мастей и педики гуляют, скромно потупив глаза, но то и дело кося по сторонам — не остановилась ли поблизости машина. Близ Понте — Систо, у искрящегося замусоренного фонтана две шайки из Затиберья играют в мяч, кричат дурными голосами и носятся туда-сюда, как стадо баранов, невзирая на лимузины, везущие шлюх на ужин в Чинечитта; из всех переулков Затиберья доносится скрип челюстей, перемальвающих пищу или хрустящий картофель; а на пьядца Сант-Эджидио или в Маттонато еще совсем сопливые сорванцы бегают по мостовым, словно подхваченные ветром бумажки, канючат и дерутся у писсуаров.

— Сойдем тут, Альду! — Легко и без усилия, как на крыльях, Задира спрыгнул с буфера.

Альдуччо же вытянулся во весь рост на подножке, чтобы его было хорошо видно кондуктору, забарабанил в стекло и крикнул:

— Эй, лопух, привет тебе!

И только потом спрыгнул на мостовую. В бессильной ярости потрясая зажатой в кулаке пачкой билетов, кондуктор высунулся из окна (в этом удовольствии он не мог себе отказать) и заорал:

— Чтоб вы сдохли, шпана чертова!

Задира присел, выпятил живот и показал кондуктору комбинацию из трех пальцев.

— На, выкуси!

Прямо перед ними горел на солнце Колизей: из арочных проемов поднимался столбами кроваво-красный дым, застилая небо над Целием и над светящимся скопищем машин на виа Лабикана и виа Имперо.

— Что делать будем? — спросил Альдуччо.

— Так, прошвырнемся, — откликнулся Задира.

— Ну давай, — согласился Альдуччо.

Они спустились к Колизею, через арку Константина вышли на темный, душный Триумфальный бульвар, затененный соснами плавно сбегającego вниз Палатина.

Друзья шагали расхлябанной походкой, засунув руки в карманы, держась на расстоянии друг от друга, и распевали, как положено, каждый свою песню:

Эх, каблучки-подковочки!

Задира вдруг резко оборвал перенятую у Сырка песню.

— Видал, какая рожа у него была?

Эх, каблучки-подковочки!

Звонкая песня вновь огласила безлюдный отрезок бульвара под навесом зеленых, как бильярдный стол, сосен. Но Альдуччо его не слушал; он сосредоточенно выводил собственную мелодию, полузакрыв глаза, подавшись вперед и самозабвенно мотая в такт головой из стороны в сторону.

Над Палатином показался тонкий-тонкий, подернутый дымкой месяц, которому, однако удалось осветить долину, и черные кусты, и булыжник, и кучи мусора. Прохожие поглядывали друг на друга исподлобья и жались поближе к стенам полукруглого цирка “Массимо”. Альдуччо с Задирой подошли к ограде, за которой высились припудренные лунной пылью развалины цирка, и увидели сидящих группками мужчин, парней и малолеток; чуть поодаль, возле трамвайного кольца, мельтешили в темноте сходящиеся и расходящиеся тени.

— Глянь-ка — все на дело вышли! — Задира прикрыл рот ладонью, давясь от смеха.

Облокотившись на ограду и толкая друг друга в бок, они продолжали тихонько смеяться. Даже не смеялись, а лишь кривили рты в ухмылке и сплевывали. Но и с этим скоро пришлось завязать, потому что к ним решительно двинулась одна из шлюх и друзьям сразу стало не до смеху: на вид ей было лет семьдесят. Не сговариваясь, они быстро пошли прочь вдоль стены, сделав серьезные лица и стреляя глазами по сторонам, будто выискивая кого-то

среди озаренных лунным светом развалин, среди солдат в увольнении, беспризорных юнцов и шлюх всех мастей, которые, как обычно, затеяли меж собой перепалку.

— Того гляди, разденут! — говорил на ходу Задира. — Давай-ка отсюда прямо в Санта-Каллу — черт, как жрать хочется, хоть ложись да помирай!.. — Помолчав немного, он указал на субъекта, проезжавшего мимо в шикарной машине. — Во кому в жизни везет! Как по-твоему, справедливо это: ему всё, а нам ничего? Ну погоди, не всё тебе от пуза жрать, будет и на нашей улице праздник! — Он умолк и зашагал дальше, сложив губы в брезгливую гримасу.

Они вышли на виа дель Маре, к тенистому парку, на высшей точке которого был расположен храм Весты.

— Ишь ты! — Задира чуть присел и стал напряженно вглядываться в чащу деревьев.

— Ты чего? — спросил Альдуччо, не зная, то ли следить за его взглядом, то ли послать его куда подальше.

Задира восхищенно присвистнул.

— Кур, что ль, созываешь? — поинтересовался Альдуччо.

— А ничего курочки! — воскликнул Задира.

“Курочками” оказались две девчонки, сидящие на ступенях храма: крашенные блондинки в коротеньких юбочках под названием “хочу мужа” и в кофточках с таким вырезом, что все титьки наружу.

Они молчали и словно бы не видели ничего вокруг; их мечтательные взгляды скользили куда-то вдаль, мимо клумб, спускавшихся кругами к набережной, мимо пьядца Бокка-делла — Верита, мимо арки Джано, мимо старой церкви. Пронзительный свет месяца озарял окрестности, будто днем.

Задира и Альдуччо, напевая себе под нос пошли было вразвалочку к Понте-Ротто. Но вдруг разом передумали и не спеша вернулись обратно.

Красотки при виде их даже не шелохнулись, вроде бы и не заметили. Приятели гордо промаршировали мимо, хотя видом своим напоминали двух псов, которых безжалостно погнали палкой. Пройдя немного по виа Дель Маре, они набрались храбрости и решили предпринять еще одну попытку. Сделали вид, будто гуляют по аллеям и дышат воздухом, а до этих розанчиков им и дела нет. Но девицы опять не удостоили их взглядом. Тогда Альдуччо и Задира обогнули храм с другой стороны, вошли под тень колоннады и начали потихоньку продвигаться к освещенному луной участку Бокка-делла — Верита.

Девчонки сидели все так же молча и неподвижно, привалившись спиной к желтым, облезлым перилам лестницы.

— Тебе которая больше нравится, — спросил Задира, — блондинка или рыжая?

— Обе, — ответил без колебаний Альдуччо.

— Куда ж тебе обеих-то? — удивился Задира.

— Или обеих, или ни одной, — серьезно отозвался Альдуччо. — А то одну возьмешь — вторая обидится.

— Ща, обиделась! — проворчал Задира. — Нужен ты им больно! Эти небось мешков с день.

— Да ну тебя, — возразил оптимист Альдуччо, — а мы чем плохи?

— Рискнем, что ль? — помолчав, предложат Задира.

— А то! — согласился Альдуччо.

Но ни один, ни другой не тронулись с места, а продолжали негромко пересмеиваться, прячась в тени и выставив под лунный свет лишь острые носки ботинок. Девицы начали подавать признаки жизни, что малость приободрило искателей приключений.

— Эй, дай-ка закурить! — повысив голос, обратился к другу Задира.

— Это, между прочим, последняя, — сообщил Альдуччо, доставая сигарету.

— Подумаешь, еще купим!

— Купим! Сколько ж можно на сигареты тратиться?

— Это надо, какая духотища! — воскликнул, отдуваясь, Задира. — У черепахи, и то

задница треснет!.. Нет, ей-ей, не могу больше!

Альдуччо в ответ лишь пожал плечами.

— Пошли в фонтане искупнемся, — предложил Задира.

— Шутить вздумал? — рассмеялся Альдуччо.

— А я и не шучу, — выпятил губы Задира.

— Да иди ты, знаешь куда?

Девицы тихонько захихикали.

— Ну пошли, Альду! — вошел в раж Задира.

В полутьме они подошли к чаше и начали расстегивать рубахи; сняли их, бросили на землю, туда, где тень погуще, и остались в майках.

Всклоченные патлы делали их похожими на Самсона и Авессалома. Расстегнув брюки-дудочки, они снова уселись, чтобы стянуть их, не потеряв равновесия.

— Дай хоть ботинки-то снять, небрежным тоном бросил Альдуччо, в душе тая от нежности к новым ботинкам.

Они припрятали в кустах ботинки и сбросили майки, обнажив потные, загорелые до черноты торсы.

— Во, мускулатура! — похвастал Задира, выкатив колесом грудь.

— Пряма тебе, — буркнул Альдуччо, — кожа да кости!

— Эх, каблучки, подковочки, — затынул опять Задира, собирая раскиданные шмотки.

Парни по привычке перевязали их ремнями и заткнули под мышку. В полуголом виде они вышли из тени, постояли на ступеньках, освещенные луной, и, надрывая глотки, припустили между клумб к фонтану. Одежду они побросали на траву под цепью ограждения, затем вскарабкались на чашу, — в метре от земли, а то и выше, — и вытянулись на краю во весь рост.

— Чтоб ты сдох, меня дрожь пробирает! — поежился Задира.

— Брось, вода-то теплая, — возразит Альдуччо.

— Ага, что твой суп! — откликнулся Задира, приплясывая на цыпочках, как мартышка.

Альдуччо пихнул его, и он мешком свалился в фонтан.

— Вот это прыжок! — заголосил Задира, выныривая; с волос у него капала вода.

— Ща я тебе покажу, как нырять надо! — крикнул в ответ Альдуччо и прыгнул солдатиком.

Вода выплеснулась из чаши и залила мраморную площадку под фонтаном. Задира, высунувшись из воды по плечи, распевал во всю глотку.

— Да тише ты, полоумный! — одернул его приятель. — Вот нагрянет полиция, поглядим тогда, как ты запоешь.

— Утопленник, утопленник плывет! — придумал новую забаву Задира и лег на воду, опустив лицо.

Но закашлялся и сразу вынырнул, отчаянно отплевываясь и утираясь. Длинные, как у Марии Магдалины, и жесткие, словно стебли шпината, волосы облепили ему лицо.

— Сперва научись — потом выдрючивайся, — добродушно засмеялся Альдуччо.

За три минуты пребывания в фонтане они метров на десять заплескали мощеную аллею вместе с кустами и клумбами.

— Все, я выхожу, — объявил Задира.

— Я тоже. Чего доброго, воспаление легких схватишь.

Они выбрались на край чаши, еще по разику нырнули ласточкой, потом окончательно вылезли из фонтана; у обоих зубы выбивали дробь, а прилипшие к телу трусы стали прозрачными.

— У-у, холод собачий! — приговаривал Задира.

Подхватив одежду, они перепрыгнули невысокое ограждение и принялись бегать взад-вперед наперегонки по скошенной лужайке. Потом в два прыжка взлетели по лестнице под колоннаду, пулей пролетели мимо девчонок и снова окунулись в тень. Девчонки не удостоили их взглядом, но явно все видели, поскольку на губах у них застыли равнодушные

и брезгливые улыбки.

— Пошли вон туда, — сказал Задира, — трусы надо выжать.

Смеясь и напевая модное танго, они отошли еще дальше, за храм, сташили трусы и принялись их выжимать с двух сторон. Задиру всякий раз, когда он одевался после купания, переполняли чувства.

— «Никогда, никогда не любил никого, как тебя, я!» — горланил он, натягивая мокрые трусы.

Но, пока они приводили себя в порядок, пташки улетели. Зажав под мышкой книжки и шурша юбками в лунном свете, красотки двинулись к набережной. Задира подошел к лестнице, где они сидели и стал кричать им вслед, размахивая штанами.

— Ишь, недотроги! Ну и хрен с вами!

Полураздетый Альдуччо тоже подошел, сложил ладони рупором вокруг рта и послал девчонкам свое напутствие:

— Все девки дуры и паразитки!.. Слушай, — предложил он, помолчав, — давай оденемся и пойдем за титьки их пощипаем!

Девчонки были уже у Монте-Савелло, когда Задира и Альдуччо, натянув шмотки на мокрое тело, бросились их догонять.

— А ну, покажь, как ты умеешь девку обработать, — подзадоривал друга Задира, поспешая за двумя фигурками, которые удалялись быстрым, но спокойным шагом.

— Ишь, как припустили, чтоб вы сдохли! — проворчал Альдуччо, у которого была привычка подволакивать ноги, как будто они больные.

— А может, ты первый начнешь? — задыхаясь, спросил он у Задиры.

— Да у меня слабость! — придурился Задира.

— Ну и сучонок — сам затеял, а теперь в кусты!

— Пошел ты в мясную лавку! — сплюнул Задира.

Выйдя на набережную, девицы проворно юркнули в подъехавшую машину длиной, наверное, метров десять и сделали парням ручкой.

Альдуччо и Задира, разинув рты, застыли у парапета; вид у них был точно у двух ошипанных индюков.

— Ты на попрошайку похож! — опомнившись, хохотнул Альдуччо.

— А ты будто сейчас из тюряги вышел, — не растерялся Задира. — Черт бы их побрал! Ну да ладно, еще не вечер, верно?

— Верно-то верно, да куда пойдешь, ежели в кармане полторы сотни? — Альдуччо похлопал Задиру по карману, где тот припрятал сто пятьдесят лир, уворованных у Сырка.

— Пошли на Черки в лотерею поиграем, — предложил Задира, — лично я всегда на судьбу полагаюсь.

— Ну и дурак! — Альдуччо постукал кулаком по лбу. — Чтоб после до Тибуртино пешедрала топтать?

— Да брось, — вскинулся Задира, — неужто еще хоть полтора ста не выиграем? Тут же золотое дно — деньги всегда найдутся.

— Когда они найдутся? К Рождеству?

— Не каркай! Спорим, найдутся?

Как два голодных волка, они двинулись к Понте-Гарибальди. Возле писсуара на той стороне моста, ближе к виа Аренула, стоял, прислонившись к стене, старик. Задира вошел в туалет воды попить, потом вышел и тоже облокотился о парапет, где уже стоял Альдуччо. Постояли, помолчали, потом Задира выудил из кармана окурок и, галантно склонясь к старику, спросил:

— У вас огоньку не найдется?

Через пять минут они раскололи его на полсотни.

Еще пятьдесят лир удалось выцыганить на Понте-Систо у пожилого синьора с папкой под мышкой, который разыграл перед ними такую Душераздирающую сцену, что из камня мог бы слезу выжать. Но Задира бестрепетно оборвал его излияния:

— Ну будет, будет, у нас в брюхе подвело! Мы со вчерашнего дня не евши, провалиться мне на этом месте!

После такого заявления синьор без звука отмуслил им полсотни, и приятели с чувством выполненного долга удалились по виа Джуббонари. Они быстро шагали по направлению к Кампо-дей-Фьори и пикировались на ходу.

— Ты, что ль, мужик? — мрачно вопрошал Альдуччо.

— А то? — кипятился Задира, яростно жестикулируя. — Может, ты деньги надыбал?

— Подумаешь! — фыркнул Альдуччо.

— Ах, подумаешь! Я деньги стреляю, а он целку из себя корчит! — Задира вдруг сложил пальцы в известную всем комбинацию и подsunул ее под нос Альдуччо. — Кретин!

В этот момент на пути им попала закусочная, и Задира, не долго думая, ввалился туда. Они взяли по жаркому и, выйдя на улицу, снова почувствовали себя в форме. Дойдя до Кампо-дей-Фьори, Альдуччо вскинул голову и ткнул Задиру в бок, указывая слегка осоловелым, но не утратившим лукавства взглядом на типа, шагавшего впереди.

— Прищучим! — воодушевился Задира.

То убыстряя, то замедляя шаг, прохожий свернул налево на Кампо-дей-Фьори, пробрался сквозь ребячью ватагу, игравшую в тряпичный мяч на мокрой площади, и на миг остановился под дырявым навесом писсуара, оглядываясь по сторонам. Задира и Альдуччо внимательно его разглядывали: низкорослый субчик, но прикинутый — в красивой рубахе и дорогих сандалетах. Без особой уверенности он двинулся к пьядца Фарнезе, а затем почему-то вернулся на Кампо-дей-Фьори по темному переулку — и так раза два-три. Все кружил и кружил по темным улицам, как мышь, угодившая в таз.

— Ну, — спросил Задира, — что делать будем?

— А ты чего надумал? — откликнулся Кудрявый, переводя взгляд с Задиры на Альдуччо.

— Дай-ка прикурить, — попросил Задира и придвинулся к нему с зажатой в зубах сигаретой.

Кудрявый сидел на парапете набережной, свесив одну ногу, а другую, согнутую, прижав к груди, и таким образом заметно возвышался над Задирой и остальными. Протягивая Задире сигарету, он лишь слегка опустил веки, а сам на миллиметр не сдвинулся.

— У тебя, может, свидание? — поинтересовался Задира.

— Да какое там свидание!

— Брось мозги-то полоскать! — с оттенком зависти заметил Задира. — Знаю я тебя, вы ведь с Альдуччо одного поля ягоды!

Тогда Кудрявый нарочно раздвинул пошире ноги и плотоядно улыбнулся.

— Неужто мы с тобой одной крови? — проронил он, оборачиваясь к двоюродному.

Альдуччо ухмыльнулся и поднес палец к губам.

— Тс-с!

— Ой, что это я? — вдруг опомнился Задира и тут же принял непринужденно-светский тон: — Разрешите представить вам моего друга.

Кудрявый неохотно высвободил правую руку, чтобы подать ее новому знакомому. Тот откликнулся с благовоспитанной улыбочкой:

— Очень, очень приятно!

В его вкрадчивом голосе явственно слышалось, какого рода приятности ожидает он от этого знакомства. От источника его вожелений, который до сих пор сидел на парапете с невозмутимым спокойствием канатоходца, не укрылись ни оттенок этого голоса, ни значение сопровождавших его взглядов.

— Чего пялишься? — мгновенно вскинулся Кудрявый.

Педик сконфуженно и в то же время вызывающе улыбнулся, широко раскрывая синюшную пасть, где, точно змеиное жало, двигался язык. Затем приложил руку к груди и нервно натянул расстегнутый ворот рубахи, как будто он мог защитить его от ночной

прохлады или от холода в глазах Кудрявого.

— Ага, губы-то раскатал уже? — засмеялся Задира.

— Скажешь тоже! — повел плечами тот.

Альдуччо, видя, что никто на него не обращает внимания, медленно закипал от гнева.

— Ну мы идем или нет? — наконец сорвался он на крик.

— Куда идем? — томно протянул голубой.

— Да сюда, к реке же!

(Разговор происходил на набережной Тибра между Понте-Систо и Понте-Гарибальди.)

— Спятил, красавчик? — Голубой выпятил нижнюю губу.

— А чего? — не унимался Альдуччо. — Спустились по лестнице, под мост — всего и делов-то.

— Нет-нет, ни за что! — Педик замахал руками, затряс головой и скорчил брезгливую мину.

— Ну почему, почему? — надрылся, войдя в раж, Альдуччо. — Лучше места не найти, чтоб я сдох! Что нам, полчаса, что ль, конопатиться? Две минуты — и ага! Сделаем вид, будто по нужде, да кому и надо — туда никто ни в жизнь не заглянет!

Голубой, казалось, и не слушал; глаза его лихорадочно перебежали с лица Кудрявого на то самое его место. Однако, дождавшись паузы в речи Альдо, он сказал как отрезал:

— Нет, я туда не пойду! — А затем снова разулыбался, одарив Кудрявого томным взглядом.

— Застрелиться, где вы такого уroda откопали? — небрежно бросил Кудрявый.

Альдуччо опять пошел в атаку:

— Ну что, так и будем сидеть?

— И правда, петушок, — подхватил Задира, — все равно одним кончится — чего время-то зря терять?

Педрила снова потерябил ворот рубахи на тщедушной шее (ему было уже к пятидесяти, но он корчил из себя двадцатилетнего) и наконец смиловился:

— Так и быть, пойдемте.

— Ну да, на словах ты храбрый, а сам с места не трогаешься! — насканивал на него Альдуччо.

Между Понте-Систо и Понте-Гарибальди и впрямь, кроме них четверых, не было ни души. Кудрявый припомнил, что творилось на этом месте сразу после войны, когда он еще сопляк был: мальчишки, готовые продаться первому встречному, буквально облепляли парапет, а вокруг так и шныряли педики — плешивые, крашенные, совсем зеленые или уже в возрасте, но все, как один, безумные — наплевать им на людей, что проходили или проезжали мимо на кольцевом трамвае. Не обращая ни на кого внимания, голубые устраивали тут настоящий карнавал: приплясывали, распевали песни, переключались:

— Ванда! Болеро! Железка! Мидинетка!

Завидят друг друга издали, подбегут — и давай целоваться, аккуратно, в щечку, как женщины, что боятся попортить макияж; а потом начинают выдрючиваться перед парнями, угрюмо глядящими на них с парапета: кто исполнит классическое балетное па, кто спляшет канкан, кто изольет всю душу в насадном крике:

— Свобода! Мы свободны!

Между делом то одна, то другая парочка спускалась вниз по лестнице и, не боясь нареканий со стороны прохожих, делала под мостом свое дело среди грязных лужиц и обрывков бумаги. Правда, изредка патруль проедет на мотоцикле тогда спасайся кто может, — и опять все тихо.

— Поехали лучше со мной, — объявил Кудрявый, повинувшись порыву, навеянному ностальгическими воспоминаниями, — уж я вам такое местечко покажу!

Лицо голубого застыло в улыбочивой маске, он что-то пропищал, пробубнил и огляделся по сторонам, чувствуя себя королем, который перед походом ослепляет приближенных сиянием своих доспехов, или старлеткой с голыми плечами, чудом попавшей

на обложку журнала. Чисто женским движением он отбросил со лба волосы и подался вперед, готовый всюду следовать за Кудрявым.

Кудрявый повел их к сорок четвертому трамваю и привез в квартал своего детства. Они сошли на пьядца Оттавила, которая, когда Кудрявый жил в том районе, считалась пригородом, свернули налево по улице, которой прежде и вовсе не было, а была лишь тропка среди лугов, кое-где поросшая тростником и обрамленная ивами трехметровой высоты, — теперь на их месте выросли дома и строились новые.

— Спустимся пониже, — предложил Кудрявый.

Они спустились, миновали последние стройки и вышли в проулок, ведущий к Донна Олимпия; но сперва на пути им попала старая, обнесенная плетнем остерия, откуда неслись песни и крики пьянчуг. Вместо бывшей тропинки на краю застроенных домами лугов начиналась новая улица, с другими домами. А сразу за ней — склон Монте-ди-Казадио — излюбленное место детских забав Кудрявого. Они добрались до спуска, почти отвесно обрывававшегося вниз, и вышли к Железобетону. Он раскинулся прямо под ногами, на дне выбеленной луною долины.

За ним на фоне белесых облаков можно было различить полукруглый зубчатый силуэт Монтеверде-Нуово, а справа, за Монте-ди-Казадио, — верхушки многоэтажек Донны Олимпии.

— Сюда, сюда. — Кудрявый указал на поросшую травой козью тропу, вьющуюся вниз по склону. — Тут спускайтесь и направо — прямо к пещере и придете. Ее издали видно. Там вас никто не потревожит... Ну пока, бывайте здоровы.

— А ты с нами не пойдешь? — опечалился педик.

— Да пусть идет своей дорогой, тебе-то что? — оборвал его Альдуччо, которого вполне устраивало отсутствие Кудрявого.

— Да как же та-ак! — не унимался педик. — Почему не с нами?

— Ну уж ладно, — снизошел Кудрявый, — провожу вас до пещеры.

Они пробрались сквозь заросли чахлого кустарника и очутились на небольшой зеленой и топкой поляне (рядом с пещерой был выход водостока).

— Вон туда, — кивнул Кудрявый.

Педик никак не мог смириться с тем, что Кудрявый их покидает: ухватил его за рукав, уткнулся подбородком в плечо и заглядывал ему в лицо, зазывно улыбаясь.

Кудрявый добродушно засмеялся. Отсека в Порта-Портезе не прошла для него даром: он приучился обходить острые углы и не везде рубить с плеча, — одним словом, набрался житейского опыта.

— Да пошел ты, — Он беззлобно отпихнул голубого. — Или двоих тебе мало?

— Ну нет, — томно протянул тот, сложил губы бантиком и чуть подогнул колени — точь-в-точь девчонка-соплячка, выпрашивающая у матери игрушку.

— Да пошел ты, — повторил Кудрявый. — Ишь, раздухарился!

Исполненный сознания собственного достоинства, он двинулся дальше по склону, ни разу не обернувшись, лишь махнув приятелям рукой на прощанье.

Тропинка тянулась по склону еще метров двадцать, прежде чем перейти в Донну Олимпию. Довольно перемахнуть через покосившуюся ограду, пройти еще квартал — и перед тобой начальная школа Франчески. Она до сих пор лежала в руинах, как будто несчастье случилось только вчера, — если не считать того, что в отмытых дождем и обожженных солнцем россыпях камней скопилось порядочно мусора. Заложив руки в карманы, Кудрявый, остановился, чтоб все как следует рассмотреть. Самые большие глыбы оттащили на середину Улицы, а по обочинам насыпали щебня, — сразу видно, во время выборов власти усиленно Делали вид, будто собираются восстанавливать здание, а прошли выборы — и всем стало не до него.

Кудрявый с любопытством озирался вокруг; даже обошел дворы, увидел знакомые фонтанчики и отхожие места, потом вернулся на улицу и долго глядел на чудом уцелевшие угловые башенки школы: полное запустение, окна крест — накрест заколочены

почернелыми перекладами. Кудрявый постоял какое-то время — зря, что ли, сюда тащился? — потом, поживаясь от спустившейся прохлады, поднял воротник куртки, и побрел по Донна Олимпия к центру; по оббитым тротуарам, мимо закрытого газетного киоска и редких, запоздалых прохожих. Но вдруг уже у самых многоэтажек его внимание привлекло неожиданное новшество: двое озябших, позеленевших от скуки полицейских несли ночной караул, то застывая на месте, то прогуливаясь взад-вперед, как безмолвные тени на фоне безмолвных домов; у обоих из-за пояса торчали черные пистолеты.

Но у Кудрявого совесть была чиста: в этих местах он очутился из чисто сентиментальных соображений, а потому прошел мимо блюстителей порядка с вызывающим видом — дескать, плевал я на вас и ваши пушки, — не спеша направляясь к четверем многоэтажкам, соединенным между собой так, что ряды окон не прерывались, а наоборот, множились, вытягивались на сотни метров вширь и ввысь, а лестничные пролеты, узнаваемые снаружи по вертикальным полосам прямоугольных окон, лишь подчеркивали эту протяженность; а внизу, под арками и портиками в стиле фашистского “новеченто” перетекали друг в друга внутренние дворики, выстланные за много лет останками бывших клумб, обрывками бумаг, обломками кирпича и прочим мусором в замкнутом пространстве отвесных стен, вздымавшихся до самой луны. Во внутренних двориках и полутемных парадных в этот час не было никого, а если и пройдет кто, так поспешно, держась поближе к дверям или прячась под портиками — скорей бы в свой подъезд, на свою вонючую, пропыленную лестницу!

Кудрявый побродил по тем дворикам, надеясь хоть с кем-нибудь словом перемолвиться о былом. Немного спустя на железной лесенке со стороны виа Одзанам и впрямь замаячил чей — то силуэт. Наверняка знакомый, подумал Кудрявый и решительно двинулся к нему. Парень оказался рыжий, веснушчатый, с двумя оранжевыми пушинками вместо глаз и огненно-рыжими волосами, тщательно зализанными на косою пробор. Кудрявый рассмотрел его еще издали, а тот, почувствовав на себе пристальное внимание, тоже насторожился, готовый к любому повороту событий.

— Мы, кажись, знакомы, — протянул ему руку Кудрявый.

— Все может быть, — прищурился тот.

— Иль ты не Херувим?

— Ну, Херувим.

— Так ведь я Кудрявый! — воскликнул он таким тоном, будто Америку открыл.

— А-а, — откликнулся Херувим.

— И как она, жизнь? — осведомился Кудрявый.

— Да ничего вроде, — сказал Херувим, у которого слипались глаза.

— Что новенького? — не унимался Кудрявый.

— Да что может быть новенького? Все то же. Вот, с работы иду, ног не чую.

— Все в баре служишь?

— Ну да.

— А другие? Обердан, Плут, Бруно, Волчонок?

— Да все при деле — кто больше, кто меньше.

— А Рокко, Альваро?

— Какой такой Альваро?

— Альваро Фурчинити, башковитый такой.

— А-а, вон ты о ком, — протянул Херувим.

И в двух словах поведал, что Рокко переехал жить в Ризано, и больше никто его не видел. Что до Альваро, то он недавно влип в историю. Было это в первых числах марта. Шел дождь. Альваро сидел в баре, в Тестаччо, где несколько парней играли на бильярде; он тоже к ним присоседился — просто так, чтобы время убить. А в баре том одни уголовники всегда собирались, да и сам хозяин недалеко от них ушел — волосатый такой детина, смахивает на Нерона и приторговывает краденым, которое скупает как раз у тех лоботрясов, что даже по

понедельникам шары гоняют. В тот день каждый из них, видно, сорвал где-то изрядный куш, во всяком случае, у всех было что на кон поставить. Но вскоре им надоело сидеть в сыром полуподвале, и кто-то предложил прошвырнуться по Риму. По дороге, у пьядца Дель Пополо, им попала дряхлая “Априлия” — грех не воспользоваться таким случаем: украсть в машине было нечего, даже пары перчаток не нашлось, но они надумали покататься на ней, а после где-нибудь бросить. В Тестаччо все малость поддали, потом еще добавили на площади Испании и на виа Бабуино, ну, и с собой вина прихватили — допивали по ходу дела в угнанной “Априлии”. Одним словом, нагрузились знатно и начали гонять взад-вперед, как помешанные. Сперва въехали на пьядца Навона, но площадь показалась им слишком тесной, и они погнали на ста тридцати по мокрым бульварам, то и дело сменяя друг друга за рулем. За ними устремились двое полицейских на мотоциклах, но “Априлия” свернула в переулок, прилегающий к пьядца Джудиа, и, теряя на ходу запчасти, оторвалась от преследования. Затем они вновь вырулили к пьядца Навона и на развороте сшибли, отбросив метров на семь детскую коляску, по счастью пустую, поскольку ребенок в это время гулял за ручку с мамашей; прохожий прокричал им что-то вслед, они резко остановились, вылезли да так его извалтузили, что кровь изо рта потекла, после чего забрались в машину и на всех парах помчались в Борго-Паниго. Выехали на набережную, проскочили мост Мильвио; у здания Министерства военно-морского флота один заметил элегантную дамочку, которая прогуливалась одна, держась за парапет. Притормозили, один вышел, поравнялся с дамой, вырвал у нее сумочку на ходу запрыгнул в машину — и поминай как звали. Переехав мост, исколесили вдоль и поперек всю площадь Святого Петра и сами не заметили, как вновь очутились в Тестаччо, где пропустили еще по две — три рюмки коньяку. Тем временем наступил вечер, и компания решила прокатиться в Анцио, в Ардею или в Латину — куда-нибудь на природу. “Априлия” на всей скорости полетела к Сан-Джованни и после получаса езды по Аппиевой дороге очутилась в пригороде с неизвестным для всех названием. В тамошней остерии уговорили на всех пол-литра и еще немного покатались по проселочным дорогам, не сбавляя скорости ниже ста; в одной деревушке Латины остановились и пошли по дворам. Стояла глубокая ночь. Парни устроили переполох в каком-то курятнике, подгребли десятка два кур, пристрелили собаку из пистолета. Награбленную птицу погрузили в машину и на Аппиевой дороге опять разогнались до ста тридцати. Кто их знает, как это получилось, известно только, что на тридцатом километре от Рима, не доезжая Марино, “Априлия” врезалась в зад автопоезду и превратилась в груды покореженного железа, а внутри было месиво окровавленных человеческих тел и куриных перьев. Альваро — единственный из всех — чудом выжил, но потерял руку и совсем ослеп.

Рассказывая эту историю. Херувим перестукивал зубами — то ли от холода, то ли от того, что в сон клонило, — и с невольной завистью поглядывал на прохожих, которые поспешно скрывались в парадных.

— Слушай, — наконец сказал он, потягиваясь — пойду я, пожалуй, а то отец вернется — опять спать не даст.

— Еще увидимся, — отозвался Кудрявый: ему было жаль расставаться со старым приятелем, но он не подавал виду.

— До скорого. — Херувим пожал ему руку на прощанье и скрылся в черном проеме, чуть подсвеченном одинокой электрической лампочкой.

Посвистывая и не вынимая рук из карманов, Кудрявый зашагал дальше, вышел опять на виа Донна Олимпия, миновал продрогших полицейских и от подножия Монте-ди-Казадио направился по тихой улочке за Железобетон. Родину он, можно считать, навестил, теперь ему хотелось поскорее сесть в свой трамвай у Понте-Бьянко и вернуться домой — спать; он даже немного ускорил шаг.

Справа от него серебрился призрачной лунной пылью Железобетон; тишина стояла такая, что было слышно, как в складском помещении вполголоса напевает сторож. А позади, на вершинах горбатых холмов вырисовывался огромный полукруг Монтеверде-Нуово; поблескивающие сквозь пелену облаков огоньки казались стеклянными на гладком,

бархатном небе. Уже несколько лет, с тех пор, как рухнуло здание школы. Кудрявый обходил стороной эти места и теперь с трудом узнавал их: слишком уж чисто все вокруг, будто выметено — странно как — то. Железобетон сверкает, как зеркало; его высокие трубы вздымаются над долиной, охраняя площадки с аккуратно сложенными штабелями шпал; среди блестящих расходящихся рельс затерялся одинокий, неподвижно-черный вагон; ряды строений под одинаковыми красноватыми крышами кажутся сверху не складами, а танцевальными залами.

Даже металлическая сетка, тянущаяся по заросшему кустами откосу, новехонькая, без единой дырки. Только сторожевая будка у самого края сетки все та же — грязная, вонючая, поскольку все, кому не лень, считают своим долгом справить возле нее большую и малую нужду. Навалено вокруг будки на метр — вот, пожалуй, единственный штрих, который напомнил Кудрявому его послевоенное детство.

Руки в карманах, майки навывпуск, Задира и Альдуччо быстро шагали по направлению к Кампо-дей-Фьори, однако, против обыкновения, не напевали и не юморили.

— А ты-то чего прешься? — спрашивал, глядя исподлобья, Альдуччо.

— Как это — чего? — негодовал Задира, размахивая руками. — Как будто я один туда не ходил!

— Да при чем тут это? Меня одного звали — сам рассуди! — угрюмо басил Альдуччо.

— Ишь ты, персональное приглашение, значит? Ну ты и дубина! — Задира постучал кулаком по лбу и продолжил путь.

— Да? А кто тебя навел? Ты скажи, кто тебе навел? Ну ладно, хрен с тобой, давай жребий кинем — кому идти!

За перебранкой они дошли до Кампо-дей-Фьори. Бульжник уже помыли, но кое-где еще виднелись огрызки и кочерыжки, а ребяшня посреди площади играла в тряпичный мяч. В глубине, где тени погуще, начиналась улочка — виа Каппеллари — с вонючими подъездами, покосившимися окнами и бульжной мостовой, пропитанной неистребимым запахом мочи. Друзья расположились в последних отблесках света, у поворота на погруженную во мрак улицу. Задира встал под облезлым фонарем рядом с двумя старухами, сидевшими у подъезда, выудил из кармана монетку, повертел ее в пальцах и подбросил в воздух.

— Орел! — крикнул Альдуччо.

Монетка звякнула о провонявший рыбой бульжник и покатилась к крышке канализационного люка; пихаясь и дергая друг друга за развевающиеся на ветру майки, Задира и Альдуччо на полусогнутых бросились ее искать.

— Я выиграл, — заявил Альдуччо и с важным видом двинулся вверх по улочке.

Но Задира не отставал от него. Единственным освещением были отблески на мостовой, и улица казалась полутемным сараем, куда свет просачивается сквозь крохотное окошко, втиснутое меж серых стен, а дверь едва угадывается по очертаниям косяка. Но, к счастью, нужная им дверь была крашена в горохово-зеленый цвет, который ни с чем не сливается, да к тому же приоткрыта, и в щели проглядывался коридор, выложенный белым кирпичом, как в привокзальных гостиницах.

Друзья поднялись по лестнице до чердачной площадки; оттуда еще один лестничный марш, устланный вытертым ковром, вел на чердак, а дверь на самой площадке вела в комнату хозяйки, смежную с залом ожидания.

Поскольку у входа в тот момент никто не случился и дверь была закрыта, приятели без колебаний полезли на чердак, однако на полпути их остановил хозяйкин рев.

— Эй, вы, шваль чертова! — (И как только у нее мочевого пузырь не лопнет?) — Поглядите — ка на них! Явились, как к себе домой!

Вслед этим воплям из насквозь прокуренной комнаты понеслись шуточки и смех. Трое клиентов, что уже сидели там, подошли к порогу и, ухмыляясь, встали в дверном проеме.

Задира и Альдуччо, тоже пересмеиваясь, бегом спустились по ступенькам, чтобы предстать перед хозяйкой, которая тем временем прошаркала к огромному, точно кафедра, бюро и уселась за него. В отличие от клиентов, она и не думала шутить, равно как и

служанка, что, как цербер, встала у нее за спиной.

Ох, уж эти мальчишки! — жеманно произнесла хозяйка, словно вдруг вспомнив, что она принадлежит к высшим слоям общества. — Небось ни лиры в кармане, а туда же!

— Извините, синьора, — примирительно заявил Задира, — ошиблись.

— Ошиблись, кой хрен — ошиблись! — Хозяйке было явно не под силу долго выдерживать светский тон; грозным жестом она выбросила руку по направлению к вновь прибывшим.

Те вытащили удостоверения личности и предъявили ей, а когда с формальностями было покончено, лукаво перемигнулись, несмотря на робость, и прошествовали в гостиную, где на диванах вдоль стен с видом истинных мучеников расселись клиенты.

Посреди комнаты на мягкой скамеечке сидела старая сицилийка и курила сигарету, пачкая ее губной помадой. Из одежды на ней были только два накомарника, обвязанных вокруг живота, а поверх чуть ли не до колен свисали груди.

Присутствующие молча мерили ее взглядами, она тоже мрачно косилась на них и окутывала себя клубами дыма.

Альдуччо направился прямо к ней и, не обращая внимания на других, процедил сквозь зубы:

— Айда!

“Ишь, какой шустрый”, — подумал Задира, устраиваясь на краешке дивана, все сидят и ждут, а этот с порога сразу в номера!

Альдуччо со старой сицилийкой удалились вверх по накрытой ковром лестнице, а Задира закурил и начал оглядывать соседей. Ближе всех к нему сидели двое солдатиков из Чиспады, которые хранили благоговейное молчание, как в церкви, перед алтарем, — сразу видно, неотесанные совсем. Чего это он так долго? — закипая от злости, думал Задира. Много ль надо времени, чтоб с его висюлькой дело спроворить? Он в последний раз жадно затянулся — окурочек уже пальцы жег, — и, раздавив каблуком, забросил его под диван.

Все было, как всегда: хозяйка в соседней комнате чесала языком со служанкой и при этом вопила так, будто ей брюхо вспарывали, а слов разобрать было нельзя.

— Да заткни ты глотку наконец! — посоветовал ей один из двоих клиентов, сидевших в углу, но который — Задира не понял, потому что у обоих голоса были низкие, трубные, как у чревовещателей.

Хозяйка не обратила внимания на реплику и продолжала драть свою луженую глотку. Немного погодя спустились еще две девицы; одна села на опустевшую скамеечку, другая — на колени к одному из чревовещателей, отчего тот соорудил постную рожу, словно только что проглотил святую облатку. Солдаты встали и хотели было потихоньку ретироваться, но это у них не вышло, поскольку вслед им понеслась громогласная брань хозяйки. Оставшиеся клиенты пересмеивались и все больше багровели лицом от дыма, взмокшего белья и жарких ботинок, — в этом тоже ничего необычного не было.

Но вдруг, перекрывая визг хозяйки, выплевывавшей последние сгустки своей цветистой брани, и томное нытье девиц, сверху донесся сиплый смех. Сперва никто не обратил на него внимания — ни хозяйка, ни шлюхи, ни четверо оставшихся клиентов, ни Задира. Но смех не прекращался, и в конце концов все наострили уши. Хозяйка, не вставая из-за бюро, бросала подозрительные взгляды на потолок. Потом спрятала в ящик деньги, которые, не переставала считать, даже поливая бранью откланявшихся солдат, и пошла на лестницу поглядеть, что там такое. Девицы засеменяли следом, волоча за собой обрывки газовой ткани, что прикрывала плоть, провонявшую пудрой и съестным. Парни тоже подошли и прилепились к дверным косякам; Задира оказался последним и от любопытства по-гусиному вытягивал шею, хотя смотреть пока было не на что.

Смеявшаяся еще не появилась на лестнице, покрытой облезлым ковром, а лишь оглашала смехом весь дом, да и на улице, пожалуй что было слышно: “а-ха-ха-ха-ха-ха”, потом пауза, потом на тон выше: “а-ха-ха-ха-ха-ха”, — как будто у этой бесноватой глотку закупоривало. Но вот она стала потихоньку спускаться, то и дело останавливаясь, чтобы

запрокинуть назад голову или сложиться пополам. Наконец дошла до площадки и остановилась посмеяться перед зрителями, ошеломленно взиравшими на нее из дверного проема. Какое-то время все разинув рты смотрели на то, как она корчится, — без особого веселья, а просто в силу инерции и природной разнузданности.

— Скажи на милость, что тебя так разобрало? — поинтересовался молодой парень и, не удержавшись, тоже загоготал.

— Отодрал, что ли, знатно? — предположил другой.

Сицилийка повернулась к чердачному лазу, которого с площадки не было видно, и пронзительно выкрикнула:

— Ну давай, чего копаешься, нянька я тебе, что ли?

Вскоре рядом с ней вырос Альдуччо; наклонив голову, он лихорадочно искал дырочку на ремне.

— Ступай, тебе там гоголь-моголь приготовили, — продолжала старуха, давясь со смеху.

— Пошла ты! — вполголоса напутствовал ее Альдуччо, наконец-то застегнув ремень.

Сицилийка одной рукой держалась за стену — видно, от смеха ноги уже не держали, — а он старательно прятался за ее спиной. Теперь проститутка уже всех заразила своим смехом, все держались за бока, хотя до сих пор не понимали, в чем дело, и между приступами смеха приговаривали:

— Да чтоб ты сдохла! Скажи, скажи, что стряслось-то!

Но та лишь натужно кривила челюсти и обращалась исключительно к Альдуччо.

— Неустойку мне потом наличными вышлешь! А-ха-ха-ха-ха!

— С кем не бывает? — оправдывался Альдуччо, но так тихо, что никто его не слышал.

Не прерывая истерического смеха, сицилийка протиснулась в гостиную, а ее спутник, не имея смелости взглянуть в глаза окружающим, припустил по лестнице к выходу. Видя такое дело, Задира по-быстрому расплатился с хозяйкой, которая не преминула во всеуслышание облить грязью их обоих, и побежал следом.

— Теперь аж до Термини топать придется, — укорил он друга уже на улице, когда за ними захлопнулась дверь парадного.

— Плевать! — сквозь зубы процедил Альдуччо.

Он шел, держась поближе к стенам домов и яростно стреляя глазами по сторонам, как злобный волчонок. Но на виа Каппеллари никого, кроме них двоих, не было, лишь нависали сверху черные провалы окон с вывешенным для просушки бельем, хлеставшим прохожих полипам. Темень стояла такая, что впору поводыря искать.

— Того гляди, в какое-нибудь говно втяпаешься! — ворчал Задира.

Какое-то время они ощупью пробирались вдоль стен, но внезапно Задира застыл на месте и разразился смехом.

— Ты чего? — круто обернулся Альдуччо.

Но тот продолжал гоготать, шаря одной рукой по засаленной стене.

— Ну-ну, давай, и ты повеселись! — с горечью проронил Альдуччо.

Один впереди, другой позади, они пересекли притихшие Кампо-дей-Фьори и Ларго-Арджентина и по виа Национале за полчаса бодрым шагом добрались до вокзала Термини.

— Тут, что ль, прицепимся? — глухо спросил Альдуччо.

— Давай, чуть дальше, там удобней, — ответил запыхавшийся от быстрой ходьбы Задира.

Перед казармой они прицепились к буферу девятого трамвая. Задира сразу повеселел и завел свои бессменные «каблучки-подковочки».

Не дай Бог какому-нибудь прохожему обратить на них внимание — Задира никому этого не спускал. К пожилым обращался так:

— Чего зенки выпялил, старый пердун? Ну, прицепились люди к трамваю, что с того?

А к молодым иначе:

— Слышь, чернявый, одолжил бы два скудо, а?

Если же мимо проходила фигуристая девица, он окликал ее:

— До чего ж ты хороша, краля! — И, воодушевившись, еще громче запевал песню.

— Хватит духариться, — мрачно бросил ему Альдуччо на остановке, когда они с невинным видом крутились возле трамвая. — Дождешься — кто-нибудь в полицию позвонит, чтоб загребли тебя: мол, тут один сукин сын за девятый номер уцепился и едет!

— Пусть загребут, — беззаботно отозвался Задира. — Как будто дома у меня лучше! — И по кошачьи ловко вскарабкался на буфер.

Вдали уже показались огоньки Верано частые, дрожащие, знакомые, — сотни огоньков в могильных нишах меж кипарисов. На конечной, в Портоначчо, неподалеку от железнодорожного моста Тибуртино, было тихо, лишь изредка черными пятнами в линиялом воздухе проплывали пустые автобусы. У газетного киоска уныло застыл триста девятый; под навесом ни единой души.

— Поглядим, не заваялось ли чего у нас в кармане, — приговаривал Задира, выворачивая мешковину и выуживая оттуда монетки. — Пятьдесят пять лир. Сорок за проезд, а на два скудо купим шоколадную бомбу, верно, Альду?

— Удумал! — хрипло отозвался Альдуччо. — На хрена она сдалась? Я жрать хочу — бомбой разве насытишься?

Но Задира на ближайшем лотке все же купил бомбу.

— На, ешь, — сказал он и подсунул ее под нос Альдуччо.

Тот откусил и скривился.

— На еще!

— Пошел ты! — Альдуччо отвернулся.

— Ах так! Ну, как знаешь, мне больше достанется! — И засмеялся с набитым ртом.

— Все не уймется никак, дубина! — проворчал Альдуччо.

— Ну что, поехали? — крикнул Задира и проворно вскочил на подножку.

Альдуччо, ничего не говоря, залез в полупустой автобус. Его ноги не держали, а Задира хоть бы хны — знай, насвистывает чарльстон.

Эй, кондуктор, два билета!

— Да слышу, не глухой! — Кондуктор неторопливо оторвал два билетика от блока. — Нечего зря глотку драть.

Пассажиров в автобусе было совсем немного, от силы десятков. Среди них слепая с поводырем, чем-то смахивающим на Кавура,⁶ двое музыкантов с инструментами в черных полотняных чехлах, клюющий носом бригадир карабинеров, двое работяг и трое подростков — не иначе, с последнего киносеанса. Задира и Альдуччо развалились на переднем сиденье; Альдуччо все больше молчал, а Задира опять начал тихонько напевать. Водитель автобуса, стоя у кабины, с кем-то разговаривал, и над его головой, за парашетом дрожали огоньки Верано. Вдруг в автобус вошел белокурый парень с истощенным лицом, встал посреди прохода, откашлялся и громко, гнусаво запел. Все повернулись к нему, а он самозабвенно распевал, ничуть не смущаясь общим вниманием:

— Лети! Лети! Лети!

Задира и Альдуччо с интересом взирали на этого полоумного. Со всех сторон раздавались смешки, кто-то, пожав плечами, отвернулся к окошку.

— Поторопись, однако, лететь, — саркастически заметил Задира, — а то как бы твой приятель Христос не сделал тебе ручкой.

Альдуччо надоело слушать оборванца, и он погрузился в размышления о своих невеселых делах. Парень добросовестно допел песню до конца при полном молчании пассажиров, а потом стал обходить салон с протянутой рукой. Задира покивал оголодавшему

⁶ Кавур, Камилло Бензо (1810–1861) — итальянский политический деятель, один из лидеров Рисорджименто. В 1861 г. после национального объединения возглавил правительство.

собрату, весь напыжился и выудил из кармана оставшиеся пять лир. Закончив свое выступление, блондин соскочил с подножки, как со сцены.

— Вона, деньжищ набрал! — завистливо пробубнил Задира; при мысли о выброшенных на ветер пяти лирах у него защемило сердце. — Ну лети, лети! — напутствовал он певца, хотя тот уже не мог его слышать. — Лети, милый, чтоб ты сдох! — Потом приблизил желтушное лицо к Альдуччо и повторил: — Лети, лети, лети!

Альдуччо обжег его свирепым взглядом и так вмазал ему локтем в челюсть, что голова у Задиры откинулась на подголовник. Но он и не подумал обидеться. В этот момент водитель соизволил наконец подняться в кабину, чему пассажиры несказанно обрадовались, но, как выяснилось, рано: на смуглом лице водителя застыла смертная тоска, он заложил руки меж колен и, казалось, задремал. Из салона раздался сварливый голос:

— Эй, чернявый, долго мы тут будем прохлаждаться?

Но водитель и ухом не повел.

— Лети, лети, лети! — поддержал крикуна Задира.

После этих двух высказываний салон внезапно оживился, все разом загомонили, каждый выдал язвительную реплику по поводу вздорожания жизни и войны в Корее. Водитель тоже начал подавать признаки жизни: выпрямился, лениво тронул ручку тормоза, и расхлябанный автобус, сотрясаясь, кашляя и подпрыгивая на булыжнике, покотил в сторону Тибуртино.

— Пока, Альду, — попрощался с другом Задира возле своего парадного и устремился вверх по обшарпанной лестнице.

— Пока, — откликнулся Альдуччо и зашагал к своему дому, что стоял чуть дальше по безлюдной улице.

Но будь она даже полна народу, он бы все равно никого не заметил. Фонари освещали положенный каждому круг асфальта и желтоватой стены одного из домов-близнецов, разделенных совершенно одинаковыми двориками. На пути Альдуччо встретились шестеро музыкантов: кто играл на гармонике, кто на барабанах, кто щелкал кастаньетами, — прошли и растворились среди домов, а от зажигательной самбы остались блуждать по вымершему предместью приглушенные “ту-тум”. Чуть подалее пьяный с багровым лицом под грязной кепкой, то и дело выпускал протяжный свист, призывая любовницу открыть ему дверь, пока муж спит. Двое парней тихонько переговаривались о чем-то своем, но голоса звучали четко, подчеркнутые гулким эхом дворов, где каменные сушилки для белья маячили во тьме как виселицы.

Дверь дома Альдуччо была приоткрыта изнутри вырывалась полоска света. На стуле в прихожей сидела сестра и молча слушала доносившиеся из кухни вопли матери, которая сновала от раковины, переполненной немытой посудой, по усеянному сором полу к столу, где валялись куски хлеба и грязный нож. Дверь в общую спальню тоже была распахнута, и в темноте просматривались контуры штанов, облекавших широко раскинутые ноги — это на супружеском ложе спал отец Альдуччо бок о бок с младшей дочерью; другие дети разместились на устилавших весь пол матрасах. Комната семьи Кудрявого за плотно запертой дверью казалась необитаемой.

— Жизни себя решу! — крикнула сестра, увидев на пороге брата, и стиснула голову худенькими голыми руками, словно у нее разыгралась мигрень.

— Дура! — процедил Альдуччо и стал пробираться к дальней стене комнаты, где стояла его койка.

Но сестра вдруг сорвалась со стула и кинулась к двери.

— Стой! — Альдуччо ухватил ее за пояс и толкнул по направлению к кухне.

Она распростерлась на грязном полу между опрокинутым стулом и дверным проемом и завывала без слез.

— Дверь закрой, — распорядилась мать.

— Сама закрой! — огрызнулся Альдуччо и, взяв со стола кусок хлеба, сунул в рот.

— Ах ты, поганец, чертово отродье! — вновь завопила мать, правда чуть приглушив голос, чтоб соседи не услышали.

Все в том же затрапезном виде, растрепанная, она пошла закрывать дверь, шлепая босыми ногами по каменному полу; под незастегнутым халатом колыхались вспотевшие груди.

Сестра все корчилась на полу и время от времени вполголоса повторяла:

— Господи Боже!

Альдуччо подошел к крану запить клеклый хлеб. В этот миг, пошатываясь, на кухню прошествовал отец в трусах и в черной рабочей куртке — видно, сил не хватило снять. Глаза у него не разлипались от выпитого, свалывшиеся волосы жирными прядями спускались на лоб. Он немного постоял в задумчивости: наверняка забыл, зачем поднялся, — потом поднял руку и начал водить ею в воздухе — от сердца к одной точке где-то возле носа, будто акцентируя этим жестом долгую, прочувствованную речь, которой так и не суждено было сорваться с его уст. Наконец понял, что выразить свои чувства ему не удастся и почел за лучшее вернуться в постель. Альдуччо на минутку вышел справить нужду (в малоэтажных домах уборные не предусмотрены), а когда вернулся, на него кортуном налетела мать.

— Шляешься целыми днями, жрешь, пьешь, а хоть бы лиру когда в дом принес!

Альдуччо почувствовал внезапный прилив крови к вискам.

— Да отцепись ты, ей-богу, надоела как собака!

— Ну нет, голубчик, не отвертись! — злобно прищурилась мать, смахивая с глаз волосы, что, облепляя потную шею, спускались по груди до самых сосков. — Теперь я тебе все выскажу, уголовник проклятый!

Альдуччо с яростью выплюнул себе под ноги непрожеванный кусок хлеба.

— На, подавись! — Он рванулся, задел стол, отчего нож со звоном полетел на пол прямо ему под ноги.

— Что-то ты больно мало выплюнул! — еще пуще заголосила мать. — А остальное где?

— Пошла в задницу!

— Сам ступай туда, засранец, тебе там самое место!

У Альдуччо помутилось в глазах, и, уже не соображая, что делает, он подхватил с полу нож.

8. Клюкастая карга

Клюкастая карга от виа Джулия

Уже по лестнице к тебе ползет.

Дж. Дж. Белли

Воскресное утро было на исходе. Из автобуса, идущего без остановок от Тибуртино до самого Понте-Маммоло, открывалась великолепная панорама деревьев, полей, мостиков, огородов, фабрик и домов, — от подножия Сан-Базилио, словно выложенного сверкающей мозаикой и облитого небесной синевой, до подернутых легкой дымкой холмов Тиволи.

Автобус, грохоча стеклом и железом, шел на шестидесяти, и виа Тибуртина мелькала в окнах какими-то расплывчатыми, шумливыми обрывками: то фасонистые парни промчатся на велосипедах, то вынырнет стайка нарядно одетых девчонок. После ночного дождя все казалось свежеевыкрашенным, даже Аньене с ее извилистыми берегами, зарослями камыша и смолокурнями на отрезке от Прати-Фискали до Монте-Сакро.

Этой панорамой любовались из окна почти пустого автобуса двое черномазых, взмокших от пота чочарцев или салернцев в летних формах карабинеров. Оба сжимали в руках фуражки и глядели угрюмо: сколько хлопот из-за нескольких ожогов на теле какого-то недоростка! Когда автобус вихрем пролетел мост через Аньене, совсем рядом с фабрикой отбеливателей, и остановился перед старой остерией, блюстители порядка сошли, не спеша

отерли пот платками и приготовились топтать пешком по виа Казальдей-Пацци, которая начиналась от остерии и уходила к самому горизонту, разогретая утренним солнцем. В глубине ее маячил Понте-Маммоло, точно какой-нибудь арабский городок, рассыпавший бусы белых домов по волнистым перекатам полей.

По размякшему от жары асфальту карабинеры потихоньку притопали к развилке, свернули на виа Сельми, пропахали и ее из конца в конец. Однако тех, кого они искали, не оказалось в последнем доме по виа Сельми, еще недостроенном, с занавесками вместо оконных переплетов; об их отсутствии поведали карабинерам женщины, что переругивались возле крана с водой. Знали бы двое черномазых, что придется зазря отмахать такой путь! Вот ведь какая злосчастливая судьба: в то время, как они проезжали по мосту через Аньене, стоило им напрячь глаза, они непременно заметили бы толпу ребятни возле речной излучины и, возможно, даже усмотрели бы в ней искомым лиц.

Да, те были именно у излучины, а точнее сказать, в так называемых джунглях ивняка и кустарника, камыша и крапивы, что протянулись от огородов к заостренному откосу по-над Аньене. Сопляк Мариуччо — даже в школу еще не ходит, — усевшись на колючки, преспокойно накалывал на прутик муравьев. Оборванец наблюдал за младшим братом, а Бывалый сгорбился в сторонке и покуривал. Рядом с ними примостился их щенок Верный: сел на задницу, передние лапы выпрямил, упершись ими в землю, а задней непрерывно почесывал себе брюшко. Вел он себя как самый благовоспитанный из представителей собачьего племени — то посмотрит по сторонам, то уставится вдаль на дома Тибуртино, а то покосится на хозяев, которые, как и он, были совсем еще малолетки, способные натворить разных глупостей.

Немного погодя щенок вскочил и стал обнюхивать пятки Мариуччо.

— Верный, ко мне! — без тени улыбки позвал Бывалый.

Пес тут же подбежал к нему, и Бывалый стал его гладить, зажав меж колен. Верный блаженно заскулил и прикрыл глаза, готовый сполна насладиться лаской, подаренной ему самым любимым из хозяев. Ласка Бывалого перепадала ему редко, поскольку Бывалый сердце имел доброе, но много вытерпел от людей, оттого приучился скрывать свои чувства и понапрасну не распускать слюни. Братья души в нем не чаяли и повиновались ему беспрекословно — но не из страха, а из одной любви; иногда они даже позволяли себе добродушно подтрунивать над старшим. Щенок вскоре задремал у него на коленях; в это утро всех четверых почему-то одолела сонливость, и они блаженно растянулись на сухой траве и примятом тростнике, в зарослях которого им нередко приходилось проводить ночи, точно диким кроликам. Но братья вовсе не раскаивались в том, что наконец решили вернуться домой, — младшие были этим даже довольны, не отстал от них и Бывалый, хотя и помалкивал. В то время, как Мариуччо и Оборванец возились с муравьями, он о чем-то напряженно размышлял и вдруг сказал, поднимаясь.

— А ну, пошли.

Не спрашивая, куда и зачем, братья с готовностью вскочили. Щенок, довольный, увивался вокруг них, бегал взад-вперед и заливисто лаял, разинув пасть. Цель, которую наметил Бывалый, находилась не так уж далеко. Сперва, перескакивая с кочки на кочку, продираясь сквозь камышовые чащобы, они прошли вдоль дикого берега Аньене до рыбацкой остерии и землечерпалки, потом, перейдя старый каменный мост, вернулись назад по другому берегу, заросшему одними лишь безлистыми кустами, и очутились прямо против излучины, только на другом берегу. У моста, как и накануне, сидел в полном одиночестве старый пьяница и во всю глотку распевал:

Эх выйду я на волю, погуляю вволю!

Видно, облюбовал он там себе местечко. На огромном, почернелом от недавнего пожара поле с торчащими кое-где бесколосыми стеблями, не видно было ни души. Но потом раздались чьи-то голоса, и под откосом, у самой кромки воды, там же, где и вчера братья заметили нескольких ныряльщиков, которые, должно быть, появились на берегу в тот момент, когда четверка, включая Верного, огибала землечерпалку. Вновь прибывшие

раздевались неторопливо и переговаривались нехотя: воздух, пока еще свежий, обещал вскоре налиться жаром и вонью; раздевшись, ребята вытянулись в пыли, широко раскинули ноги, и словно бы прислушивались к звукам собственных голосов, которые звучали чересчур громко, потому что машин от Тибуртино в этот час шло мало, а фабрика отбеливателей не работала. Братья, не долго думая, вернулись на тот берег — поближе к обществу.

Среди ватаги братья заметили Сырка.

— Ну та, — гундосил он, не замечая Бывалого, подхотившего вместе с Оборванцем и Мариуччо. — Та, которую в прошлом году все пели, не знаешь, что ли?

Не иначе, Фитиль остался недоволен субботним купанием и опять явился на берег, но на сей раз без собак. Сейчас он намыливал за кустом свое голое, сухощавое, точно килька, тело и голосил во всю мочь легких:

— Мать не дождется из тюрьги...

— Кто это ее в прошлом году пел? — спросил Альдуччо; от недосыпу глаза у него были как две кровавые раны.

— Да все! Я, к примеру, когда в Порта-Портезе сидел, только ее и пел.

— Ну ясное дело! — ухмыльнулся Альдуччо.

— Да, в тюрьге эту песню петь — самое оно, — ударился в воспоминания Сырок. — Вот те крест, я спать без нее не ложился!

Он с большим чувством начал подпевать Фитилю, но хора не получилось: каждый распевал сам по себе и старался перекрыть другого — Сырок по эту сторону общипанного куста, Фитиль по другую.

— Тебе небось досталось там в тюрьге на орехи, — заметил Задира.

— А ты думал! — на секунду прервавшись, откликнулся Сырок.

— Чтоб вы сдохли! — тихонько, как бы про себя пробормотал Бывалый и подполз на четвереньках к обрывистому краю откоса.

Мариуччо и Оборванец вытаращили глаза на брата. Впервые они услышали из его уст такое ругательство.

— Слыхала б тебя мамка, — выдохнул Мариуччо, — то-то бы уши надрала!

Бывалый бросил на него ничего не выражающий взгляд и вернулся к созерцанию шпаны из Тибуртино.

Мать Бывалого, Оборванца и Мариуччо была родом из Марке, но во время войны ее угораздило выйти замуж за каменщика из Андрии. Он ее колотил каждый день, и жизнь у бедняжки была истинно собачья, но в моменты затишья она говорила соседкам, что как бы там ни было, сыновей своих она в люди выведет. Однако сейчас, несмотря на свои благие намерения, она сидела на пороге и лила слезы — во-первых, потому, что сыновья со своим паршивым псом куда-то запропастились, а во-вторых, потому что в их отсутствие за ними явились карабинеры.

Но у сыновей теперь были другие заботы, чтобы предаваться мыслям о матери.

— Эй, Оборванец, — крикнул снизу Задира, — а ну-ка, спой ты эту песню.

— Не знаю я ее, — насупился смуглолицый Оборванец.

— Врет, врет! — закричал Мариуччо. — Он знает!

Задира поднялся по откосу, подошел вплотную к Оборванцу и грозно сверкнул азиатскими глазами.

— Слышь, ты меня не зли! Пой — не то хуже будет!

Оборванец поворчал немного, свесил голову на грудь и запел тюремную песню.

Альдуччо огляделся по сторонам — не смотрит ли кто — отошел в сторонку, будто бы вздремнуть, и растянулся ничком на омытой вчерашним дождем траве, свесив голову на сложенные руки.

Пока Оборванец пел, Бывалый, ни говоря ни слова, спустился к воде, а Мариуччо и Верный ползком последовали за ним. Бывалый остановился на минутку, задумчиво окинул взглядом струящуюся перед ним реку и другой берег, изрезанный белыми бороздками фабричных отходов. Потом, не торопясь, на глазах у Мариуччо и Верного, что с

подобострастием глядели на него, начал раздеваться. Не спеша снял пропотевшие и пропыленные штаны, рубаху, розовую майку, башмаки и носки; наконец, тощий, с выпирающими ребрами, остался не совсем голый, а почти, потому что не был таким бесстыжим, как его сверстники из Тибуртино; широкие трусы как следует все прикрывали — и спереди, и сзади.

— Подержи. — Он подал Мариуччо аккуратно свернутую и перевязанную ремнем одежду. Нет, постой-ка. — Бывалый вновь распустил ремень и, порывшись в кармане штанов, вытащил окурок и обломок расчески.

Закурив, он начал тщательно причесываться и все спрашивал у Мариуччо, прямой ли пробор. Потом взбил на лбу черный, блестящий кокон — волосок к волоску. Наконец, снова вручив брату узел с одеждой, бесстрастным тоном, как будто дело вовсе его не касалось, объявил:

— Ща переплыву.

Мариуччо смерил его взглядом, сообразив, что момент не совсем обычный, и вдруг завопил тонким щенячьим голосом:

— Оборванец! Эй Оборванец!

Оборванец по-быстрому допел последний куплет, скомкав концовку песни, и перегнулся через край обрыва.

— Оборванец! — пищал Мариуччо. — Бывалый речку грозитя переплыть.

Оборванец еще немного помолчал и тоже соскользнул вниз на заднице.

— Переплывешь? — на полном серьезе спросил он у Бывалого.

Тот в ответ криво улыбнулся, но в усмешке проглядывало волнение.

— Угу.

— Сейчас?

— Нет, после. Отдохну малость и переплыву.

Три брата опустились на грязный песок, а пес, видя, что о нем забыли за более важными делами, хотя эта важность была выше его понимания, ни секунды не сидел смирно — прыгал и прыгал от одного к другому, ласкаясь. Бывалый долго молчал, делая глубокие затяжки, и наконец выдал братьям новую мысль:

— Подростем чуток и отца прикончим.

— И я, и я! — с готовностью откликнулся Мариуччо.

— Все вместе, — подтвердил старший, — все втроем его прикончим! А после с мамкой в другой город жить переедем. — Он выплюнул окурок в реку; взгляд у него был по-прежнему угрюмый, но глаза влажно поблескивали. — Небось опять ее отдубасил. — Бывалый помолчал еще, борясь с желанием высказаться, и все же повторил глухим, невыразительным голосом: — Погоди, подростем немного — мы тебе покажем, ох уж, покажем!.. Ну, пойду.

— Переплывешь? — трепетно спросил младший.

— Не то что переплыву — попробую, — ответил Бывалый.

— До середины доплывешь? — предположил Мариуччо.

— Ага. — Бывалый встал и полез вверх по откосу.

— Ты куда? — удивился Мариуччо.

— Туда.

Братья вслед за ним спустились с другой стороны откоса, где Фитиль уже заканчивал намыливаться, а тем временем на смену ему пришел другой горемыка — лысый, но с длинной бородой, прикрывавшей воспаленное лицо. Это был Альфио Луккетти, дядюшка того самого Америго из Пьетралаты, который руки на себя наложил.

— Чего таким франтом? — добродушно ухмыльнулся Фитиль.

Альфио пришел на берег в темных полосатых брюках и теперь, окинув их взглядом, насмешливо покачал головой. Под мышкой у него было зажато свернутое в рулон полотенце. От улыбки заросшие жесткой бородой щеки раздулись, а усы стали торчком, едва не задевая за уши. Волосы Альфио были аккуратно прилизаны, как у юноши, хотя в них уже

поблескивала седина. Тем временем Бывалый, ни на кого не глядя, зашел по щиколотку в реку. Сперва он только мутил воду ногами, потом зашел по пояс, поднял руки и, наконец нырнув, быстро-быстро поплыл по-собачьи.

— Тренируется, чтоб реку переплыть! — похвастался перед взрослыми Мариуччо, глядя на них снизу вверх, как смотрят на высоченные горы.

Но те занялись разговором и даже не слышали его. Бывалый доплыл до середины реки, где течение закручивалось барашками, все время наращивая скорость и собирая в широченных трусах всю речную грязь: черные полосы нефти и какую-то желтую пену, будто образованную тысячами плевков. Чуть-чуть не доплыв до быстрины, Бывалый повернул назад, покачался на волнах у берега и стал плавать взад — вперед там, где свисали с откоса, едва не касаясь воды, длинные колючие заросли.

Оборванец и Мариуччо бежали следом по берегу, не разбирая дороги, то и дело оскальзываясь на откосе, падая в грязь и тут же поднимаясь; за ними неслись щенок и надрывно лаял — то ли от радости, то ли от страха.

— Бывалый, а, Бывалый! — кричали ему братья, как будто он был от них за десять километров.

— Почему не переплыл, а? — запыхавшись, осведомился Мариуччо.

— Отстаньте от меня! — Бывалый, сердито огляделся кругом и добавил, избегая смотреть им в глаза: — Я ведь сказал — только попробую.

С сознанием выполненного *долга он сел и начал* прикидывать, какие трудности *сулит* ему будущий рекорд. За *быстриной* оставалось всего метров десять до *противоположного* берега, где проходила белая борозда, проделанная фабричным сливом. Верный тоже уставился в ту сторону, присев на задние лапы; он тяжело дышал открытой пастью, то и дело закрывая ее, чтобы сглотнуть слюну или облизнуться. Щенок притих, видно, решив впредь брать пример с хозяина, и вид у него сделался слегка пришибленный, казалось, какой-то сукин сын засветил ему в глаз, — правый глаз у Верного был почти белый, вокруг левого расплзлось иссиня-черное пятно, и ухо с этой стороны забавно свисало, а другое стояло торчком, улавливая окрестные шумы.

Тем временем другие подростки, развалившиеся в луже, как свиньи, начали подавать признаки жизни. Сверчок подошел и застыл, как статуя, на краю трамплина, затем сладко потянулся и опустил голову, брезгливо поцокав языком.

— Так он будет нырять или нет? — бросил Сырок, поглядывая на приятеля через плечо — поворачиваться всем телом ему было лень.

— Не видишь — устал я! — Сверчок лениво похлопал осоловевшими от сна глазами.

Задира ни с того ни с сего так раскашлялся, что, казалось, вот-вот выплюнет кусок легких.

— Ну, начинается! — сморщился Сверчок, и вдруг с воодушевлением крикнул: — А ну, кто со мной?

— Пошел ты в задницу! — окрысился Задира, улучив секунду между надрывными приступами.

Сверчок томно поднял руки и нырнул ласточкой, правда, ноги растопырил, как гусь.

— Нырять не умеет, дубина! — презрительно сплюнул Сырок, когда тот еще был под водой.

Но слова его заглушил страшный грохот и гул, словно со стороны Тибуртино надвигалось землетрясение, постепенно распространяясь по всему берегу. Гул был равномерный, монотонный, но время от времени в нем прорывался какой-то яростный скрежет. Это было похоже на гигантский компрессор или сокрушительную ковровую бомбежку. А навстречу ей с берега Аньене взметнулись крики стаи диких обезьян, выгнанных из джунглей лесным пожаром. Но то были не обезьяны, а войско ребяташек, охваченных то ли ужасом, то ли непонятным азартом. Они мчались, как безумные, размахивая рубахами и майками, которые срывали с себя на бегу. Поскольку кричали все в один голос, слов разобрать было нельзя, и лишь когда лавина рассыпалась на группки, стали

слышны отдельные выкрики.

— Берсальеры! Берсальеры!

Собственно говоря, на берсальеров им было наплевать, но чем не предлог побузить немного? Во главе толпы, словно кони с вьющимися по ветру гривами, неслись Огрызок, Сопляк и Армандино. Таким образом огромная масса недоростков пыталась самоутвердиться перед взрослой шпаной. Вздывая тяжелую рыжую пыль на кромке голой земли и крича “берсальеры” с нарастающей громкостью, но с убывающим интересом, армия лилипутов повернула к виа Тибуртина, по которой уже проезжала колонна броневиков и танков, чьи гусеницы рыхлили асфальт, как масло, попеременно с грузовиками и в сопровождении эстафеты берсальеров на мотоциклах; в кузова грузовиков тоже набились берсальеры в маскировочных костюмах, с автоматами, зажатыми меж колен. Первые малолетние бандиты уже карабкались по откосу дороги, тогда как последние — шайка сорванцов, лет по пять, по шесть, — выстроились в рядок и начали дружно маршировать, печатая шаг и распевая марш берсальеров: “паппа-раппа, паппа-пара, паппа-раппа, паппа-пара”.

Впечатлительный Сырок тут же припустил за ними. Сверчок тоже греб к берегу, вынырнув из месива нефти и плевков. Оборванец и Мариуччо что было мочи кричали старшему брату:

— Пошли, а, Бывалый? Там танки!

Но, увидев, что Бывалый и не думает подниматься, побежали одни, а за ними трусил окончательно сбитый с толку Верный.

У трамплина остались ко всему равнодушный и хмурый Альфио Луккетти (Фитиль уже удалился), Альдуччо, дремавший в пыли, которая успела как следует накалиться, отшельник Бывалый и Задира. Последний не переставал кашлять — так трубно, будто звуки доносились из пустого бидона; золотушная кожа налилась кровью, даже прыщи стали не видны. Он вытащил из кармана штанов платок, весь в красных пятнах. Никто на него не обращал внимания, и он кашлял и одиночестве, ругаясь и призывая всех сдохнуть. Наконец приступ прошел. Задира спрятал платок в карман и отбросил под куст шмотки, точно ком грязи. От затяжного кашля кружилась голова и мутило — наверняка всему виной слабость, ведь прошлой ночью он почти не спал. Поразмыслив, он решил, что купание ему поможет и кряхтя поднял с земли свои мощи. Прежде чем идти в воду, он хорошенько обвязал голову мотком шпагата, чтобы не намочить выгоревшие на солнце патлы, спускавшиеся на шею, и стал потихоньку, пока никто не видит, пробовать ногой воду. Ему хотелось просто окунуться или помочить ноги, как делают старики или стоящий рядом Альфио, который давно распрощался с юношескими привычками и рекою пользовался как купальней. Задира зашел в воду по щиколотку и попеременно вытаскивал ноги, переступая, как курица. Он не ожидал, что вода такая холодная, и теперь проскрипел сквозь зубы:

— А, чтоб вас всех!

Потом немного пообвыкся и решил зайти поглубже, до сосков, которые разгорелись двумя сургучными нашлепками на костлявом теле. И наконец окунувшись, неторопливыми саженками доплыл до середины реки, но почувствовал себя только хуже: голова кружилась, будто череп, насаженный на пику, а в желудке ни дать ни взять кошка сдохла. Ему стало не по себе. Он испугался и что есть мочи поплыл к берегу, а едва ступил на землю, не удержался на ногах, упал на колени, и его тут же наизнанку вывернуло. Накануне Задира почти ничего не ел и утром решил наверстать упущенное — смолотил полкаравая хлеба со шкварками; видимо, возникло несварение, и он чуть всю душу не выблевал.

В таком состоянии застали его ребята, которые любовались кортежем берсальеров, пока последний танк не свернул к Понте-Маммоло.

— Задира очурился! — объявил Сырок, первым заметив, что тот лежит, уткнувшись лицом в грязь.

К нему подбежали, перевернули на спину и увидели, что он смотрит полуприкрытыми глазами в пустоту. Сырок и Сверчок принялись трясти его за плечи.

— Очнись Задира, очнись! — умоляли они его, а ему хоть бы что — лежит, вся рожа в

блевотине, и даже не смотрит на ребяташек, которых вокруг него столпилось человек тридцать.

Тут подоспел Альдуччо и начал на всех орать:

— А ну, расступитесь, дубье, дайте продыхнуть человеку!

Протиснувшись в центр круга, который тут же за ним сомкнулся, он тоже стал тормозить пострадавшего. Задира что-то пробормотал, состроив жалобную гримасу.

— Чего он сказал? — переспросил Сырок.

— Хрен его знает! — ответил Сверчок.

Ну-ка, подымай его! — скомандовал Альдуччо, а сам, сложив руки ковшиком, зачерпнул воды из реки и выплеснул ее в лицо Задиру, который на миг встряхнулся, помогая головой, точно пьяный, и тут же вновь провалился в забытие.

Двое ребят принялись помогать Альдуччо: несколькими пригоршнями воды быстро смыли грязь с лица Задиры.

— Не, ничего у вас не выйдет, — заключил Сырок. — Домой нести надо.

— Что верно, то верно, — понимающе закивал Сверчок.

На том и порешили. Отволокли Задиру чуть выше по берегу, опять положили на землю, а сами начали одеваться. Потом, на глазах у разинувшей рот мелюзги одели и Задиру, который почти не шевелился, если не считать частых рвотных позывов. Наконец Сырок схватил его под мышки, Сверчок за ноги — так и понесли в Тибуртино, останавливаясь каждые пять-шесть метров передохнуть. За ними семенили все оборванцы, обгоняя и расталкивая друг друга — каждому хотелось быть как можно ближе к основным персонажам действия. Альдуччо немного проводил их по тропинке, время от времени подменяя то одного, то другого несущего. Потом, хотел было повернуть назад, но увидел вдаль Кудрявого. В крайне благодушном настроении и в знатном прикиде тот шел им навстречу, ступая очень осторожно, чтоб не запылить белые сандалеты. В руке он держал новые плавки; голубая тенниска развевалась на ветру.

Альдуччо бросился к нему, но вездесущая малышня опередила его и уже поведала Кудрявому о происшедшем. Тот выслушал их, сразу посерьезнев. Сырок и Сверчок вновь опустили Задиру на землю, переводя дух; тот сначала лежал, точно Христос, снятый со креста, но вдруг зашевелился и потихоньку, поддерживаемый приятелями под мышки, поднялся на ноги. Кудрявый поглядел на него, сокрушенно помотал головой и, сочтя на этом свою миссию оконченной, повернулся к Альдуччо.

— Ну что, брательник, оплошал ты прошлой ночью, а?

— Пошел ты! — вскинулся Альдуччо. — Не суй свое поганое рыло куда не просят!

С искаженным злобой лицом и комом слез в горле он круто повернулся и зашагал обратно к трамплину. А Кудрявый пружинистой походкой следовал за ним и говорил вкрадчивым, отеческим тоном:

— Да-а, незадача вышла, братишка!

— Отцепись, тебе говорят!

— То-то и оно, — покачал головой Кудрявый, — как бы тебе вслед за Плутом не угодить... Вот именно что — вслед за Плутом!

Плут уже давно исчез с горизонта: год назад его замели в какую-то тюрьму под Римом — не то в Вольгерре, не то в Искье, — и дали ни много — ни мало тридцать лет... А вышло все вот как: однажды — по пьянке, или другая какая дурь в башку ударила — взял он такси, приехал в пустынное место, где-то возле Красного Грота, и там из пистолета, украденного у Башки, пришел таксиста и забрал у него из кармана пять или шесть тысяч лир.

Кудрявый немного помолчал, глядя на двоюродного, шагавшего впереди с опущенной головой, и сказал себе: хватит над пацаном измываться.

— Ладно, братик, не переживай попусту. Ступай домой, там вроде всё...

Альдуччо оглянулся, подозрительно прищурился.

— Что — всё? Что — всё?

— Да вроде всё обошлось, — подмигнул Кудрявый. — Это я так, пошутил с тобой.

Мать на тебя не заявила. Сказала, что сама порезалась, нечаянно.

Альдуччо долго молчал, вышагивая рядом. Они уже подошли к месту для купания, как вдруг он повернулся и, не слова не сказав Кудрявому, почти бегом припустил к Тибуртино — догонять компанию, окружавшую Задиру, который теперь ковылял сам, только руки положил на плечи Сырка и Сверчка.

— Пока, братан! — бросил ему вслед Кудрявый и двинулся своей дорогой, ни разу не оглянувшись.

Он шел к излучине, что прямо напротив фабрики отбеливателей. Завел по привычке песню, а когда допел, очутился как раз под трамплином. Там с одной стороны играли трое ребятшек с Понте-Маммоло (их, правда, не было видно, но он узнал голоса), а с другой Альфио Луккетти натягивал после купания брюки в полоску.

"Это еще что за хрен? — подумал Кудрявый, подходя поближе, а потом пригляделся и сам же себе ответил: — Ага, ясно!" Потом малость понаблюдал за тем, как одевается этот угрюмый, с торчащими вперед ребрами и густой порослью на груди "хрен". "Ага!" — еще раз отметил про себя Кудрявый, припоминая похороны Америго и все предшествующие события. Но эти мысли быстро выветрились у него из головы, и, не обращая больше внимания на Альфио, Кудрявый начал раздеваться; лишь еще раз, когда тот удалялся, поглядел ему в спину и подумал: неприкаянный какой-то мужик!

Высоко задирая ноги, чтоб не извозить в пыли брюки. Кудрявый снял их и аккуратно сложил. При этом все время посвистывал, довольный, либо ворчал себе под нос насчет расштаннанных трамвайных подножек, либо мысленно поздравлял себя с обновкой — вон, какую ладную майку себе справил!

— Законная майчонка! — приговаривал он, — тщательно сворачивая и ее. А оставшись в одних трусах, добавил: — Ну все, хватит на этого хрена горбатиться! Стребуешь денежки после обеда — и привет! Ты понял. Кудрявый?

Выработав таким образом жизненную программу, он взобрался по откосу, подошел к краю вышки, встал ферттом и обнаружил слева и кустах троих мальцов, сыновей своего мастера, Верный, радостно лая, бросился ему навстречу, стал подпрыгивать, норовя достать лапами до груди. Кудрявый рассеянно потрепал его по загривку: не до тебя, мол. Уж очень он обрадовался, заметив тех троих: как хорошо, что не придется плавать в одиночестве и тишине, которая с приближением полудня стала гробовой, но главная радость, осветившая жуликоватую физиономию под короткими кудрями, заключалась в другом. Кудрявый пристально и неотрывно смотрел на братьев. Те тоже его заметили, но пока что помалкивали, выжидали. Наконец Бывалый повернулся к нему спиной, братья последовали его примеру — лишь изредка то один, то другой кидал настороженный взгляд через плечо. Кудрявый наконец нарушил молчание негромким окриком, и все трое разом обернулись к нему, а он поднял руку и угрожающе повел ею вверх-вниз. Ребятишки сердито передернули плечами, не сводя с него глаз.

— Вот вы где, шалуны!

— Чего надо? — выпалил Бывалый и умолк, ошетинясь, как ёж.

Кудрявый развлекался от души: подбоченился, прищурил один глаз, неодобрительно покачал головой.

— Хороши, нечего сказать!

— А чего? — с наивностью, свойственной его молодому возрасту, полюбопытствовал Мариуччо.

— Как это — чего? — Кудрявый дико завращал глазами. — И он еще спрашивает!

— Ага, чего? — нимало не смутившись, повторил свой вопрос Мариуччо.

— Да чтоб вы сдохли! — воскликнул Кудрявый и грозно сдвинул брови. — Может, и отпираться станете?

Бывалый тоже заинтересовался: почесывая ступню щеточкой и поворачивая ее так и сяк, он спросил вслед за братом:

— От чего отпираться-то?

— От чего-о? — Патетический тон нелегко давался Кудрявому: смех уже бурлил в груди, как варево в котле. — Таракана изжарили и спрашиваете — от чего?!

Не в силах больше сдерживаться, он загоготал и долго не мог угомониться, даже по земле катался, довольный своей остроумной репликой насчет жареного Таракана, хотя тот не совсем изжарился, а только поджарился слегка. Братья, однако, его остроумия не оценили, поскольку ни черта не поняли.

— Блаженный, что ль? — хрипло бросил ему Бывалый.

— Не притворяйся, уголовник! — осадил его суровый окрик Кудрявого.

— Уж сразу и уголовник! — не моргнув глазом отпарировал Бывалый. — Ты как будто из дому не бегал!

Кудрявый наострил уши: этой подробности он не знал.

— А-а, так вы еще из дому сбежали! Видно, почуяли, что на вас облаву готовят!

Бывалый встревожился, но решил не подавать виду — лишь наклонил голову к самым коленям и напряженно размышлял. Иное дело — Мариуччо, этот заверещал как резаный:

— Какую такую облаву? Ты в своем уме?

— Я-то в своем, — продолжал издеваться Кудрявый. — Поглядим, что с твоим умишком станет, когда тебя заметут лет на десять!

— Да ладно трезвонить! — отмахнулся Мариуччо.

— С чего бы это на нас облаву готовить? — с напускной беззаботностью спросил Бывалый.

— Опять — с чего? — рассердился Кудрявый. — Сопляки ведь еще, а наглости на десятерых взрослых хватит! Кто вчера злодейство учинил на Монте-Пекораро? Ну, отвечайте!

— Какое еще злодейство? — Бывалый посмотрел на него даже с некоторым вызовом.

— Кто на горе Таракана привязал к столбу и поджег?

От такого известия братья на миг застыли с разинутым ртом; Бывалый опомнился первым и пожал плечами.

— Откуда нам знать?

— Вы и учинили, больше некому! — торжественно провозгласил Кудрявый.

— Скажешь тоже! — хмыкнул Бывалый и отвернулся, чтобы скрыть от Кудрявого полыхнувшие под черным чубом глаза.

— Не, ты что, это не мы! — заторопился Мариуччо.

— Нечего, нечего отпираться! — прокурорским тоном повторил Кудрявый, веселясь все больше. — Чтоб вы знали — свидетели имеются!

— Откуда свидетели? — удивился Бывалый.

— Вот те на! Откуда! Да вас все там вчера видали — человек шестьдесят, не меньше. И Огрызок, и Сопляк, и Армандино... Да вся мелюзга из нашего квартала, спроси кого хошь!

— Это не мы! — повторил Мариуччо, заметно нервничая.

— Вот заметут вас, там и будете сказки рассказывать! — траурным тоном заключил Кудрявый.

Но Мариуччо, задыхаясь от страха и несправедливости, тряс подбородком и все твердил: “Нет, нет, это не мы!”

Видя, что тот готов заплакать, Кудрявый сжалился, подошел поближе к краю вышки и, покачиваясь над бездной, пропел куплет всем известной песни. Его веселость повергла малолеток в еще большее смятение.

— Слезам горю не поможешь! — не утерпев, попрекнул он малыша Мариуччо. — Раньше думать надо было!

Ему вдруг стало жаль эту пузатую мелочь; разом вспомнились годы, когда он сам был таким же беспорточником и над ним издевались во всех дворах взрослые ребята, и то, как они с Марчелло и Херувимом были изгоями бандитского общества, и то, как однажды он своровал деньги у слепого, чтоб взять напрокат лодку на Чириоле, и то, как спас тонущую ласточку у Понте-Систо.

Вдали завывали полуденные сирены.

— Ну давай, ныряй скорей, — вслух сказал сам себе Кудрявый, — не то мастер опять напьется, как скот, и денежки из него хрен вытянешь! Не хватало и сегодня остаться с фигой в кармане!

С этими словами он сиганул вниз головой, не обращая внимания на Мариуччо, который уже успокоился и вопил ему вслед:

— А Бывалый тоже грозитя реку переплыть.

— Заткнись, дурак! — рявкнул на него Бывалый.

Вместо того, чтобы выполнить обещанное, он задумался об услышанном от Кудрявого. Но вскоре выбросил из головы непонятные новости и стал по примеру братьев наблюдать за тем, как Кудрявый плещется на середине реки. Затем подошел к краю воды, где Оборванец и Мариуччо любовались курбетами Кудрявого, и тихо бросил им:

— Пора нам домой идти, не то мамка там небось слезами обливается.

Сказал и снова уставился на Кудрявого, который устроил в воде целое представление. Руками плещет, вздымая столбы пенных брызг, то уйдет с головой под воду — один зад торчит и лапы, как у гусыни, — то вытянется на воде брюхом кверху и распевает во все горло. Наконец он сделал резкий разворот и поплыл обратно к трамплину; вскарабкался на него, встряхнулся, как пес, и, важничая перед малышами, глядевшими на него во все глаза, снова нырнул, раскинув руки, как птица.

Через минуту вынырнул и, не оборачиваясь, широкими саженками поплыл к другому берегу. Тогда Бывалый решил тоже показать класс: меся грязь под ногами, он зашел в воду по грудь и быстро-быстро поплыл по-собачьи.

— Что, Бывалый, переплыл? — взволнованно кричали ему вслед Мариуччо и Оборванец.

Но он их не слышал, да и не мог слышать, потому что изо всех сил догонял Кудрявого, вытягивая из воды подбородок и крепко сжав зубы, чтобы не нахлебаться.

Вот он миновал быстрину, которая на несколько метров увлекла его вниз по течению, затем, проворно перебирая руками под водой и свернув голову набок, одолел оставшуюся половину реки. Кудрявый уже достиг другого берега, перебрался через белопенную полосу кислотных отходов и тут же вновь бросился в воду. На сей раз он доплыл до противоположного берега буквально в несколько гребков. А когда вылез, разлегся навзничь под трамплином и снова затянул песню; при этом руками и ногами делал гимнастику, чтоб обсохнуть побыстрей. Солнце припекало, стоя в зените, воздух вокруг фабрики отбеливателей накалился и обжигал вдаль, с полей и с дороги, на которой уже смолк грохот колонны танков, наплывала полуденная тишина. За несколько минут Кудрявый не только высох, но и взмок от пота.

Бывалый же остался один на другом берегу. Он присел у стока фабричных отходов в подбитую белой пеной грязь. Наверху, у него за спиной, как адский оползень, поднимался, щетинясь кустарником, откос с фабричной оградой, из-за которой высывались крашенные зеленым и коричневым баки — целый лес металлических резервуаров; под ослепительным солнцем они казались почти черными.

Мариуччо и Оборванец не сводили глаз с брата, а тот скрючился на противоположном берегу, как бедуин в пустыне.

— Эй, Бывалый, а обратно как же? — тоненьким голоском крикнул Мариуччо, крепко прижимая к груди одежду старшего брата.

— Ща, обождите, — отозвался Бывалый, не повышая голоса и не поднимая головы от колен.

Кудрявый уже начал одеваться: неторопливо рассматривал на свет дырявые носки — как бы наизнанку не напялить.

— Пойду скажу карабинерам, что вы здесь! — крикнул он Бывалому, уже собираясь уходить.

— И отцу вашему доложу непременно!

Удалялся он все в том же благодушном расположении духа и на сей раз ограничился тем, что погрозил кулаком соплякам, которые настороженно смотрели на него снизу. Но что-то вдруг заставило его обратить взор к другому берегу, к ограде фабрики и к еле заметному наверху среди оцинкованных цилиндров окошку, в котором мелькнула фигурка дочери сторожа. Она протирала стекло.

— Эй, милашка! — задиристым тоном окликнул ее Кудрявый.

Он сделал несколько шагов по направлению к мосту, потом передумал и обернулся. Девушка наверху усердно начищала стекла: они уже блестели, как солнце, в раскаленном воздухе.

— Посижу еще тут, пусть все катятся к чертовой матери! — сказал сам себе Кудрявый и уселся меж колючего кустарника и зарослей крапивы — так, чтобы его не видели ни трое ребяташек на берегу, ни народ, проходящий через Тибуртино; впрочем, в этот час все равно тут ни души — дураков нет, чтобы по этакому солнцепеку ходить. Временами до него доносился гул машин и глухой, далекий рокот продвигавшихся рывками танков.

Спрятавшись в кустах, он снова стянул брюки, убедив себя, что надо еще немного подсушить плавки, и начал подавать знаки девчонке в окне фабрики — вдруг заметит?

— Ты скоро, а, Бывалый? — не унимался на берегу Мариуччо.

Бывалый долго не отвечал на его призывы, но вдруг рывком поднялся и бросился в воду. Доплыл до быстрины и тут же повернул назад. Опять вылез на берег и уселся, нахохлившись, под самой фабричной оградой.

— Бывалый, ты что, не вернешься? — все кричал Мариуччо.

— Посижу еще чуток, — сказал Бывалый. — Уж больно тут хорошо!

— Давай, плыви, хватит! — настаивал младший: от крика у него жилы на шее вздулись.

Оборванец тоже начал звать брата, а Верный поддерживал их громким лаем и прыгал вокруг них, но морда его была все время повернута к противоположному берегу.

Бывалый встал, сладко потянулся. что было на него не похоже, и крикнул:

— До тридцати сосчитаю и поплыву!

Он замер, считая про себя, потом задумчиво прищурился на воду, глаза его горели под аккуратно причесанным черным чубом, — и наконец плюхнулся пузом в воду. Достиг быстрины, где река делала излучину у фабрики, сворачивая к Тибуртино. Но течение в этом месте было слишком сильным и все время отбрасывало его назад, к тому берегу. Когда сюда плыл. Бывалый легко с ним справился, но возвращаться обратно — совсем другое дело, тем более, если только по-собачьи плаваешь. Словом, течение, удерживая Бывалого на середине реки, начало мало-помалу сносить его к мосту.

— Давай, Бывалый! — надрывались под трамплином братья, не понимая, почему он никак не сдвинется с места. — Давай быстрее, а то мы пошли!

Но ему не удавалось пересечь эту бурливую полосу, полную опилок и отбросов нефти, словно бы шедшую наперекор желтым водам реки. Он беспомощно барахтался в ней, а если и продвигался, то лишь в направлении моста. Оборванец и Мариуччо, спрыгнув с откоса, вместе со щенком помчались по берегу, застревая в грязи, где на своих двоих, а где и на четвереньках, вслед Бывалому, которого все неудержимей несло к мосту. Кудрявый, продолжая заигрывать с девицей, что по-прежнему надраивала стекла, увидал, как двое ребят и щенок промчались мимо него. Ребятишки испуганно вопили, а Бывалый на середине реки все так же неумело перебирал руками. Кудрявый поднялся, как есть гольшом, сделал несколько шагов к берегу, не обращая внимания на колючки под ногами, и остановился, приглядываясь к тому, что происходило у него на глазах. Сперва не понял — решил, мол, дурачатся, но потом вдруг припустил бегом к откосу, соскользнул вниз, умом понимая, что помочь не в силах: нырять под мостом может лишь, тот, кому жить надоело, — с таким течением даже ему не справиться. И он остановился у самой воды, бледный как смерть. Бывалый, бедняга, уже и барахтаться перестал, лишь беспорядочно взмахивал руками, однако ни разу не позвал на помощь. Голова его то скрывалась под водой, то снова показывалась, уже на несколько метров дальше. Наконец, когда он уже был у моста, где

течение, пенясь, разбивалось об опоры, черный чуб в последний раз мелькнул на поверхности и скрылся. Криков так никто и не услышал.

Дрожащими руками Кудрявый кое-как натянул штаны (про окошко фабрики он и думать забыл) и немного постоял, не зная, что делать дальше. От моста доносились вопли Оборванца и Мариуччо, который все прижимал к себе одежду Бывалого. Немного погодя, они поплели вверх по откосу, цепляясь руками за кустарник.

— Пойду-ка я, пожалуй, — чуть не плача, сказал себе Кудрявый и быстро двинулся по тропке к Тибуртино.

Он почти бежал, чтобы поспеть к мосту раньше ребяташек, и думал: а ведь я любил его, голоштанника! Оскальзываясь и цепляясь за кустарник, он вскарабкался по откосу на поросшую пропыленной и обожженной травой вершину и, не оглядываясь, свернул на мост. Ему оказалось нетрудно уйти незамеченным, поскольку ни души не было видно среди палей, простирившихся до белых домишек Пьетралаты, Монте-Сакро и Тибуртино; даже машина ни одна не проехала, даже расхлябанные пригородные автобусы куда-то подевались. В этой вселенской тишине лишь где-то возле стадиона Понте-Маммоло проползал отставший танк и своим назойливым рокотом перепахивал горизонт.

Послесловие. А были ли мальчики?

*Я так отчаянно люблю жизнь, что это
для меня не может кончиться плохо.*

Пьер Паоло Пазолини, “Автобиография”, 1960 г.

Пьер Паоло Пазолини родился 5 марта 1922 года в Болонье. За полвека с лишним своей яркой, но не слишком счастливой жизни он создал в литературе, искусстве, журналистике, политике, просветительстве народных масс столько, сколько иной не успеет и за десять жизней, а в ночь на 2 ноября 1975-го был зверски убит в римском предместье, при невыясненных обстоятельствах (следствие по делу не так давно возобновилось и до сих пор не закончено).

Пожалуй, трудно отыскать в итальянской культуре XX века персонаж более парадоксальный. Я бы назвала его рациональным романтиком, сентиментальным циником, робким скандалистом. Романтический рационализм П.П.П. просматривается во всем его творчестве как клубок осознанных противоречий, на которых настаивал, которые внушал публике автор в каждом интервью, в каждом фильме, в каждой стихотворной строке, ведь, по мысли Пазолини, разум и логика безличны, анонимны, а противоречия способствуют утверждению личности.

Я сознательно искал встречи со смертью... сознательно отрекся от невыразимой радости бытия и заплатил за это отречение муками, понятными только живущим... ибо все, что есть в этой жизни, ни в коей мере не сравнимо с глухим молчаньем небытия». Близкий друг и земляк Пазолини, художник Джузеппе Дзигаина, отыскавший эти высказывания в архивах уже после его смерти, вспоминал несколько примеров «скандальной робости» П.П.П.

«Однажды Пеппино (Дзигаина) завел с Джанджакомо (Фельтринелли) речь о Пазолини, предложил ему стать редактором нового поэтического сборника. Но издателя утянули в другую сторону, и он то ли не решился, то ли потом передумал, так сборник и не вышел... Это не способствовало успеху единственной встречи Пазолини с Фельтринелли. Она состоялась в начале 60-х, летом, в Червиньяно, в доме Пеппино. Хозяин держался напряженно, гости отнеслись друг к другу крайне сухо. Белого сухого, срочно! «Пазолини был не в настроении, — вспоминает Дзигаина. — Врожденная робость довершила дело. А о Джанджакомо я с математической точностью могу сказать, что он не испытывал большой симпатии к Пьеру Паоло. Не то чтоб недолголюбил, но как-то сторонился...» Однако вино сыграло свою роль: обстановка разрядилась, беседа пошла. Фельтринелли рассказан сон,

виденный накануне ночью и четко отпечатавшийся в памяти. Как будто бы он в зубах огромной тигрицы или что-то в этом роде. Пазолини без промедления отреагировал в своей манере: «Комплекс кастрата!» На этом воспоминания Дзигаины о том вечере заканчиваются. Джанджакомо смертельно обиделся, и больше они не обменялись ни словом. «Как ни странно, та же самая история произошла, когда я возил Пазолини в Горицию знакомиться с Базальей, возглавлявшим общину целителей. Пазолини и тут воткнул свою шпильку про комплекс кастрата, отчего у Базальей начал дергаться глаз. Разговор оборвался, и нам пришлось срочно откланяться. Застенчив он, был, понимаешь?»⁷

О Пазолини-литераторе говорят и пишут значительно меньше, чем о Пазолини-кинематографисте, хотя начинал он как поэт, издав в 1941 году (ему было тогда девятнадцать лет) сборник «Казарские стихотворения», написанный на диалекте провинции Фриули, где родилась его мать, и где сам он прожил долгие годы. В такой «поэтической» стране, как Италия, я не бы назвала поэзию П.П.П. эпохальным явлением; она, на мой взгляд, интересна прежде всего причудливым и опять-таки парадоксальным сочетанием лирической исповедальности и политизированности, реализма и экспрессионизма, стремления сказать новое слово в гражданской поэзии («Прах Грамши», 1957) и выплеснуть в поэтическую строку свою темную, неодолимую тягу к смерти («Религия моего времени», 1961. «Поэзия в форме розы», 1964). Позже он оканчивает филологический факультет Болонского университета. В 1949 году вместе с матерью переезжает в Рим, где продолжает писать статьи для коммунистической прессы и литературных журналов. За свою поэзию удостоивается ряда литературных премий. В 1952 году выпускает научное издание антологии «Диалектная поэзия XX века». Именно использование достаточно откровенного римского диалекта отличает его первый роман «Шпана».

Проза Пазолини не столь эклектична, как стихи. Может быть, произошло это благодаря тому, что основные прозаические опусы были созданы им на протяжении всего одного десятилетия (романы «Шпана», 1955 и «Жестокая жизнь», 1959, сборник рассказов «Голубоглазый Али», 1965, путевые заметки «Запах Индии», 1962). Дальше было кино, куда Пазолини пришел вначале от нехватки денег (работал учителем в лицее, жалования не хватало, стал подрабатывать сценариями, писал жаргонные диалоги для фильма Феллини «Ночи Кабирии»), но которое вскоре захватило его целиком, он почувствовал, что ему тесно в словесной оболочке, что он может полной мерой выразить себя лишь в универсальном, интернациональном языке образов, каким считал кино. «Я заключил, что оно выражает реальность не с помощью символов, — говорил он в одном из интервью, — а через саму реальность. Между мною и реальностью не существует никаких символических или условных фильтров, как это бывает в литературе».⁸

Правда, в 1972 году Пазолини начал работать над романом «Нефть» (опубликован посмертно в 1992 году), объявив, что это будет подведение итогов всего творчества в целом, однако рукопись, подготовленная издателями к публикации, представляет собой набор фрагментов, планов, сюжетных схем, отчасти не связанных между собой, отчасти не расшифрованных, которые, как оговаривался сам автор, едва ли можно назвать романом в полном смысле слова. Хотя по этим фрагментам была сделана театральная постановка и снят короткометражный фильм, они, не стали возвращением к прозе, а остались в русле сценарного творчества, ну, и, может быть, поэзии, эссеистики, личной переписки, которым П.П.П. никогда и не изменял.

Выход в свет едва ли не каждого нового творения Пазолини сопровождался скандалом. Обыватели, с которыми он всю жизнь воевал, воспринимали его яростный нонконформизм как нечто непристойное, эпатажное, порой даже человеконенавистническое. Нередко дело

⁷ Д. Фельтринелли. Senior Service M. ОГИ. 2003.

⁸ Pasolino Pasolini Interviews with Oswald Stack London: Thames & Hudson, 1969.

кончалось судебным разбирательством; не обошла эта участь и предлагаемый вниманию читателей роман, тираж которого сначала был арестован, а позднее удостоен самой престижной в Италии литературной премии «Стрега».

Пазолини был певцом люмпенов, считая, что именно в этом слое заложен самый мощный заряд социального протеста. Под этим знаком вышли в свет поэма «Прах Грамши», «Шпана» и его первый фильм «Аккаттоне». Впоследствии Пазолини испытал болезненное разочарование, убедившись, что люмпены, оставаясь нищими и голодными, не меньше обывателей привержены буржуазным ценностям. Кудрявый, Марчелло, Сырок и другие персонажи «Шпаны», бывшие для Пазолини ключом к пониманию современного мира, духовно обуржуазились раньше, чем материально. Это стало крахом христианско-коммунистической идеологии П.П.П. (или, как выразился он сам в стихотворении «В день моей смерти», «святость жернова смололи на слова») и, в конечном счете, привело к его физической смерти, поскольку из той же среды вышел и убийца поэта, семнадцатилетний Пино Пелози, убивший режиссера, а потом раздавивший его тело колесами его же собственной машины, прежде чем ту угнать.

Но даже при том, что в начале 50-х, когда писался роман, автор верил в этих ребят, он изобразил их безо всякой идеализации. Это жестокий мир, где ради забавы можно привязать к дереву и поджечь сверстника, из ярости — ударить ножом родную мать, а по «необходимости» — вытащить деньги из кармана лучшего друга.

И в литературе, и в жизни П.П.П. не раз вторгался в этот мир, сознавая, насколько опасно такое вторжение. Быть может, недаром среди множества толков, связанных с его гибелью, была версия о том, что в Остии, пригороде Рима, где обитают антигерои «Шпаны», великий режиссер выбрал натуру и сам поставил собственную смерть.

И. Заславская

